

Р. М. ЗОТОВ

Избранное



Рафаил Михайлович Зотов
Два брата, или Москва в 1812 году

Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2376135

Аннотация

«...Из русских прозаиков именно Р. М. Зотов, доблестно сражавшийся в Отечественную войну, посвятил войнам России с наполеоновской Францией наибольшее число произведений. ...Роман «Два брата, или Москва в 1812 году», пользовался широкой и устойчивой популярностью и выдержал пять изданий...»

Содержание

Часть I	4
Глава I	4
Глава II	11
Глава III	22
Глава IV	28
Глава V	35
Глава VI	40
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Рафаил Михайлович Зотов

Два брата, или Москва в 1812 году

Роман в трех частях

Часть I

Глава I

Между Москвою и Владимиром, лет за 50 тому назад, не помню близ какой-то станции, стоял господский дом, отделенный от большой дороги деревянною решеткою. Дом был одноэтажный с мезонином. На дворе, который, как видно, помещик решился содержать в чистоте, пробивалась трава сквозь песок. По левую сторону были людские, а по правую – сараи и конюшни. Тут с обеих сторон были калитки в сад, хотя главный вход в него и был из гостиной, где трое стеклянных дверей отворялись на деревянную, полукруглую террасу, спускавшуюся несколькими ступенями в главную липовую аллею. Мы не будем описывать всех подробностей сада и дома: прихотливость деревенских помещиков всегда развивается по мере средств каждого, а у Петра Александровича Сельмина было до 1000 душ – незаложенных. Следственно, можно себе представить домашний комфорт этого дома, а по времени действия (это было в последнем десятилетии прошлого XVIII столетия) можно догадаться и о духе барничества, господствовавшего в жилище богатого помещика.

Старики всех веков и народов уверяют всегда, что в их время было гораздо лучше, а молодое поколение смеется над этим, убеждая само себя, что все идет к усовершенствованию человечества; когда же состарится, то опять твердит то же самое своим детям, что слышало от отцов. Это вечная круговая порука, и всякий прав по-своему. Не надобно никого осуждать безусловно. Всякое время имеет свою хорошую и свою дурную сторону, потому что люди всех веков человечества будут все-таки люди, то есть существа со слабостями, недостатками и пороками. Семена добра есть во всяком, но обстоятельства, эти несчастные *circonstances atténuantes* законодательства общественной жизни, увлекают их в проступки и заглушают врожденное стремление к добру. Русское поколение XVIII века может похвалиться многими прекрасными качествами, которых мы не имеем, но зато мы, слава богу, ограждены и от многих злоупотреблений, которые над ними тяготели.

Владимирский помещик Петр Александрович Сельмин действовал в духе старого времени. Всякий крестьянин мог к нему прийти с просьбою и даже с жалобою, и решение его всегда было основано на чувстве христианской веры. В неурожайные годы он их кормил. После пожара строил им избы, после падежа покупал скот, а иногда молодым своим парням добывал у других помещиков невест, когда влюбленные решались к нему являться и, повалившись в ноги, объясняли свою страсть.

Для соседних мелкопоместных дворян Сельмин был просто клад. Он им и поля засеивал, и дома поправлял, и подушные часто за них платил. Стоило только прийти к нему и взмолиться жалобным голосом. Он, бывало, пошутит, помучает, а кончит непременно тем, что все даст. Эту слабость его знали, и все пользовались ею. Зато уже, разумеется, он требовал от всех этих полубар безусловного повиновения, и горе тому, кто бы ему вздумал в чем-нибудь поперечить!

Дверь Петра Александровича была всегда отперта. Кто хочешь вались, комар и муха. Соседи могли во всякое время поесть и попить у него, платя за это несколькими поклонами и натянутыми комплиментами насчет великодушия хозяина.

Вообще Петр Александрович был любим и уважаем во всем околотке. Ему было за 50 лет. Он был вдов и имел всего одного сына, который был уже гвардии офицер. Разумеется, первая обязанность новопроизведенного офицера состоит в том, чтоб отпроситься в отпуск и блеснуть военным званием. Так поступил и Александр Петрович. Он явился к отцу – и пошли праздники за праздниками. Как ни охотно все соседи пивали и едали у старика Сельмина, но на все есть границы. Петр Александрович так дружески всех запотчевал, что наконец все рады были кое-как помаленьку выбраться из этого разгульного Эльдорадо. Можно после этого судить, что было выпито и съедено, если приказные желудки XVIII века не в силах были побороть разливанного усердия Сельмина. Мало-помалу ежедневная беседа его пустела, а сын начинал скучать. Окрестные барышни не привлекали его. Он смотрел на них свысока.

Итак, старик Сельмин начинал скучать, видя, что застольники и собутыльники его мало-помалу скрылись и не возвращаются. Он придумал наконец еще одну уловку. Усадьба его была на большой дороге; станция была недалеко от господского дома, он приказал почтовому смотрителю не давать никому лошадей, а всех проезжих отправлять к нему в гости. Происходили презабавные сцены всякий день. Проезжие сердились, жаловались, кричали и все-таки отправлялись к Петру Александровичу, который так умел каждого обласкать и угостить, что все от него уезжали совершенно довольные, смеясь забавному средству помещика зазывать к себе гостей.

Однако ж отпуск Шанички (так старик звал своего гвардии офицера) приближался к концу, последние дни надобно же было попить. Все бежавшие гости воротились, зная, что на этот раз с отъездом сына тотчас же погонят всех со двора. На счастье Сельмина, и проезжих было немало, так что весь дом был битком набит и все кутили напропалую. Шаничкин отъезд назначен был на другое утро, прощальный пир должен был продолжаться весь день и всю ночь вплоть до отъезда.

Чего тут не было. Боже мой! Исчисление всех блюд и напитков этого пира, всех занятий и забав этого веселого общества показалось бы скучно нашим читателям, а между тем сколько тут исторических фактов. Тут виден весь образ жизни наших предков, их вкус, их склонности, степень их образованности, их понятия, их логика. *Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты таков* — вовсе не парадокс новейших гастрономов. Пища и забавы лучше всего обнаруживают человека. Он тут не притворяется, он следует своей животной природе. Караульте тут людей, господа философы, вы больше узнаете, нежели из целых фолиантов Канта и компании.

Тогда был сентябрь... У нас на Руси, особливо в северной и средней полосе, много сентябрей в году, но это был настоящий. Серое небо сеяло на землю сквозь самое тонкое сито какую-то влажность вроде дождя, однако же то был не дождь, а пародия на него. Ветер холодный, пронзительный помогал ему пробивать с усердием всякую человеческую одежду. Грязь была, по милости тогдашних дорог, по колено, и несчастный путешественник, которого судьба заставила ездить по тогдашним губернским дорогам, подвигался самым медленным и неприятным образом.

На станции, близ усадьбы Сельмина, остановился в это время какой-то проезжий. Он ехал не на почтовых, но в скромной кибиточке тащился парой на наемных, обывательских, и, подъехав к селу, объявил своему слуге, сидевшему на облучке, что намерен ночевать в этой деревне. Слуга спросил ямщика, где бы лучше переночевать барину, и тот, почесавшись, отвечал, что лучше всего ехать к помещику в усадьбу. Барин, сидевший в кибитке, вовсе не желая этой чести, сказал, что ему нужен ночлег и теплая изба; но в эту самую минуту

высыпали на улицу станционные ямщики и закричали в один голос, что лошадей не дадут, а что, по приказанию помещика, всех проезжих велено отправлять к нему в дом.

– Да мне, братцы, ваших лошадей не надо, – отвечал проезжий в кибитке, – я еду на вольных.

– Да уж все равно, сударь, – сказал ему староста, – мы не посмеем никаких дать лошадок. Барин крутой, боже упаси. У него теперь пир горой, и он велел, волей или неволей, всех проезжих отправлять к нему. Уж не прогневайтесь, сударь, а отправляйтесь к Петру Александровичу. И погуляете и отдохнете. Он у нас прерадушный.

– Очень рад за вас, – отвечал проезжий. – Но я гулять не намерен; знакомиться не хочу, одолжаться не люблю. Егор (он обратился к своему слуге), постучись в первой избе и попроси ночлега.

Медленно стал слезать старый слуга, но ямщики остановили его и в один голос объявили, что не осмелятся принять к себе проезжего на ночь, боясь барского гнева. Все с поклонами окружили проезжего и умоляли его ехать к помещику.

– Еще одно испытание! – сказал проезжий, пожимая плечами. – Пожалуй! я перенес не это. Ступай, Егор, к помещику. Поедем на пир.

При этом слове горькая улыбка показалась на лице путешественника и даже слуга его покачал головою. Ямщик ударил по лошадям, которые очень неохотно тронулись с места, и гурьба ямщиков провожала их до выезда из деревни, чтобы проезжий не передумал и не остановился где-нибудь в крайних избах.

Через четверть часа они дотащились до подъезда Сельмина. Лакеи, услышав подъехавшую кибитку, выбежали со свечами и ввели нового гостя, доложив барину о прибытии этого невольного посетителя. Сельмин явился сам к нему.

– Верно, вам на селе не давали лошадей и отправили ко мне? – сказал он. – Уж извините. У меня праздник, и я не хочу, чтоб кто-нибудь проехал здесь мимо, не отведав моего хлеба-соли. Милости просим. Добро пожаловать. Если вы собираетесь браниться со мною за это насильственное приглашение, то прошу вас оставить ссору до завтра. Может быть, гнев ваш пройдет.

– Кто сердится, тот или не прав или человек без образования, – отвечал проезжий, – мне не хотелось бы быть ни тем, ни другим. Напротив, я благодарю вас за гостеприимство. Позвольте об одном умолять вас. Велите мне дать какой-нибудь угол, чтоб отдохнуть и переночевать. У вас, я вижу, много гостей, а я самый дурной собеседник. Веселья всеобщего я ничуть не прибавлю, а скуку навести могу. Прикажите же поместить куда-нибудь меня и слугу моего.

– Все будет, и надеюсь, что вы будете мною довольны. Но позвольте же и мне просить вас погостить часок-другой с моими друзьями и знакомыми. Ваше первое слово доказало мне, что вы человек благородный и образованный. Следовательно, вы не можете отказать в просьбе хозяину. Меня зовут Петр Александрович Сельмин. Ко мне приехал в отпуск сын мой, гвардии офицер, Александр, завтра он отправляется обратно в С.-Петербург. Сегодня у меня прощальный пир, и кто ко мне попал в дом, тот будет не прав, если станет отказываться принять участие в моем празднике.

– Мое дело было предупредить вас, что я не гожусь в праздничные собеседники. Если же вам угодно, чтоб я был в числе бесполезного балласта, то я охотно повинуюсь.

– Только по приезде в гавань показывается, какой товар дороже прочих, и я надеюсь, что вы будете в числе самых приятных и дорогих. Позвольте узнать, с кем я имею честь познакомиться?..

Проезжий с минуту не отвечал, печально посмотрел на хозяина, покачал головою и сказал наконец со вздохом:

– Я человек без имени, звания, родины и семейства... Угодно ли вам после этого, чтоб я оставался у вас?

– Непременно. Я виноват, что полюбопытствовал. Мое дело угощать, а не спрашивать. Прошу вас еще раз быть моим гостем и для начала откусать и согреться с дороги.

В эту минуту лакей подошел с большим подносом, на котором стояли разные напитки и который, для дебюта, являлся пред каждым вновь прибывшим гостем.

– Я, кроме воды, ничего не пью, – отвечал путешественник.

– Вот уж это невозможно. Сколько угодно и чего хотите, – сказал Сельмин, – но значило бы обидеть хозяина, отказавшись выпить что-нибудь за здоровье его сына.

– Не знаю, как же назвать, если насильно станут заставлять гостя пить.

– Очень просто: это закон учтивости и необходимости. С своим уставом в чужой монастырь не ходи, говорит пословица, и все должны ей покоряться.

– Повторяю вам, что я ничего не пью.

– Может быть, но сегодня у меня это необходимо. Вы будете первый человек на Руси, который нанес бы мне подобную обиду.

– Ради бога не настаивайте!

– Окатите его! На голову лей! – закричало несколько голосов гостей, бывших навеселе, сидевших поблизости за карточными столами.

– Слышите ли, какие меры мне предлагают? – сказал Сельмин.

– Этим людям я не удивляюсь, – отвечал проезжий, – в них говорит вино, а не рассудок. К счастью, вы не похожи на них...

– Как? Что? Так мы пьяны? Кто вы, сударь? Как смели? – закричали обидевшиеся гости, окружив хозяина и путешественника.

С холодным достоинством посмотрел на них последний и, обратясь к хозяину, сказал ему:

– Позвольте узнать, Петр Александрович, у вас ли я в доме нахожусь и с какого права эти господа требуют от меня ответа?

– Пейте, если хозяин велит! – закричали ему все.

– Хозяина я почитаю слишком благородным, чтобы он мог приказывать пить. – Вас же нахожу довольно... забавными, чтоб вместо него распоряжаться человеком, вовсе вам незнакомым.

– Вот еще невидаль! Кто вы такие? – спросил один из гостей, подходя к нему.

– А разве здесь заставляют пить всех без исключения? – сказал путешественник. – Если так, то я вам не мешаю, я же – простолюдин и следую собственной своей воле и рассудку.

Около действующих лиц этой сцены собралась в минуту большая толпа, и все кричали: «Пить! Пить! Заставить его пить!»

Неизвестно, чем бы кончилось это явление, но путешественнику приходилось худо. Уже более десяти рук держали над ним бутылки и штофы, чтоб вылить на него влагу, которую он отказывался пить, и, если б он стал обороняться, может быть, эта стеклянная гроза и обрушилась бы на него. Вдруг явился гвардии офицер Шаничка, через всех ловко пробился к самому проезжему, сказал слова два в успокоение отца, схватил первого под руку, утащил с собою и, проведя в свою комнату, запер ее за собою на ключ.

– Сделайте милость, извините этих людей, – сказал он путешественнику, – они уже третий день пируют. Мне совестно за батюшку, что он окружил себя подобным обществом. Я очень рад, что уеду от них завтра. Не угодно ли вам у меня расположиться?... Вы, верно, из Москвы?

– Нет! я из Петербурга...

– А! очень рад! Что там нового? Императрица не переехала еще из Царского Села?

– Я уж три недели как выехал из Петербурга...

– Так долго ехали?

– На долгих, мне торопиться некуда...

– Вы простите мое любопытство... Но мне кажется, что я вас видал в Петербурге...

Лицо ваше мне так знакомо...

– Не может быть, – с горькою усмешкою отвечал проезжий. – Лицо мое принадлежит к числу умерших. Меня никто не знает и не может знать.

С удивлением посмотрел на него молодой Сельмин, не понимая странного его ответа.

– Я, однако, помню, – продолжал он с недоумением, – так точно! Не родня ли вы гвардии капитану Зембину?... Я его часто видел, и ваше с ним сходство с первого взгляда поразило меня.

Путешественник смешался, побледнел, но отвечал, однако ж, довольно равнодушно:

– Нет! я ему не родня. Наше сходство – дело случайное.

– Так вы его знаете?

– Да! видал... во время последнего турецкого похода.

– А вы были в военной службе? Очень приятно познакомиться с вами! В каком полку вы служили?

– Я находился при главнокомандующем... и то недолго... Незначущая рана и семейные обстоятельства принудили меня оставить это поприще... Но я вас задерживаю... У вас гости. Позвольте мне отдохнуть, мне рано надобно отправляться в путь.

– Это моя комната; вы в ней полный хозяин. Я оставлю вас и пришлю слугу. Сделайте одолжение, приказывайте.

– Мне никого не нужно. Со мною есть слуга...

– Ну, этот, вероятно, теперь в распоряжении наших челядинцев, и если он не одарен такую же твердостью, как вы, то, верно, его уже напоили. Уж это так водится.

– Очень жалко, я во всю жизнь не забуду вашего одолжения. Вы меня спасли. Бог знает, что бы тут произошло.

– О нет! Батюшка мой и добр и благороден... Но вы знаете провинциальные нравы.

В эту минуту старик Сельмин вошел.

– Ступай, Саша, к гостям да вели обнести чем-нибудь. Ты очень хорошо сделал, что увел сюда этого господина.

– С которым мне лестно было познакомиться. У нас есть много общих знакомых. Он был в военной службе, находился при главнокомандующем... я уж извинялся пред ним за наших гостей... Запировались.

При этом слове он ушел, а старик Сельмин, оставшись с проезжим, подал ему руку и также извинился в происшедшей сцене.

– Я их всех побранил, – сказал он. – Они приняли вас за соседнего помещика 17-ти душ. Он иногда отнекивается, и мы его обливаем.

– Очень сожалею, что он позволяет это с собою делать.

– Э! как вы судите! У нас все делается по-приятельски. Творим, что думаем, и никогда не сердимся друг на друга за дружескую шутку.

– Это очень похвально.

– Я пришел к вам извиниться и просить вас пожаловать опять в залу к гостям.

– Нет! избавьте, ради бога.

– Послушайте. Для меня это все равно. У меня дом открыт, и мое дело угостить и спать положить. Но собственное ваше достоинство требует, чтоб показаться опять перед всеми. Я вас не спрашиваю, куда вы едете и кто вы, но вы везде с этими людьми можете встретиться, и они, видя вас в чести в моем доме, рады будут все для вас сделать. Я ведь угощаю всю губернию. Все у меня пьют и едят.

– Я вам душевно благодарен, – отвечал проезжий с некоторою задумчивостию, – но вряд ли мне в ком-нибудь будет нужда на этом свете, да и меня, кажется, дальше гроба нельзя гнать... Впрочем, я вижу, что вы истинно добрый и благородный человек. Если вам хотя несколько приятно может быть, чтоб я явился в залу, то я готов идти за вами.

– Очень рад, пожалуйста, пойдемте!

И вот таинственный вояжер опять явился в гостиной. Он был высокого роста, бледный, худой, с выразительными глазами, благородными приемами и серьезною физиономиею. Ему казалось около 40 лет, впрочем, его огненный взгляд, добрая поступь давали повод думать, что он гораздо моложе. Только морщины на лбу и на щеках обнаруживали преждевременную старость или тяжкие страдания. Одет он был совершенно по-дорожному, однако же чисто и скромно. Едва он появился в зале, как молодой Сельмин подвел к нему группу давешних крикунов, которые тотчас перед ним извинились в неуместной шутке.

– Помилуйте, господа, – отвечал он с хладнокровным достоинством. – Я вовсе не в претензии. Вы поступили по своим привычкам, я по своим, мы квиты. Мы все равно уважаем хозяина и готовы угождать ему. Я первый, чтоб сделать ему приятное, явился опять сюда и очень буду рад, если вы удостоите меня вашего лестного знакомства.

Все расшаркались, все пустились в фразы, извинения, рекомендации, и все-таки кончилось тем, что прежний навязчивый господин снова приступил к нему с вопросом: позвольте узнать, с кем я имею честь и проч. Проезжий отвечал, что у него нет ни имени, ни рода, ни племени. Это опять взволновало все общество. Все начали громко шептать хозяину, что это неприлично, что всякий должен знать, с кем говорит, что в такой компании не должны быть безыменные люди и т. п. Вдруг молодой Сельмин расхохотался и обратил этим на себя внимание.

– Как это смешно! – вскричал он. – Ведь я вам говорил, что у нас, в провинции, и шутки понять не умеют. Видите ли, что я прав и вы проиграли заклад. Да, господа! Теперь я вам открою все дело. Завтра я уезжаю, это мой короткий приятель, он заехал за мною, чтобы вместе отправиться. Мы уговорились, чтоб, приехав в последний день, он сыграл всю эту комедию. Я думал, что все будут смеяться нашей шутке, а вышло, что без формуляра здесь нельзя и глаз показать. Теперь кончено. В наказание за их недогадливость и я им ни слова не скажу. Пусть же они помучаются до будущего моего отпуска. Прошу вас молчать и никому не открывать вашего имени.

Все поглядели друг на друга с изумлением, проворчали разные полуизвинения и начали отпускать натянутые шутки насчет своей мнимой недогадливости. Старик Сельмин посмотрел на сына, покачал головою и замолчал. Гости разошлись опять за карточные столы, а молодой Сельмин взял проезжего под руку и стал с ним ходить по комнатам. Через час уже и забыли об этом эпизоде. Веселое расположение гостей не могло вдаваться в продолжительные обсуждения. Да ведь они и не за тем собрались. Один молодой Сельмин не отставал от путешественника. В первый раз он встретил человека с такою образованностию и душою. Таинственность его еще более усиливала участие, которое он к нему чувствовал. Уважая причины его скрытности, он не обращал разговора на этот щекотливый предмет, и гость был ему чрезвычайно благодарен за его деликатность. Наконец проезжий просил позволения удалиться, и молодой хозяин проводил его опять в свою комнату.

– Любезный Александр Петрович, – сказал ему таинственный гость, – я завтра, вероятно, уеду прежде, нежели вы встанете. Позвольте с вами проститься и поблагодарить вас еще раз за вашу милую выдумку насчет нашего знакомства. Вы меня два раза спасли от неприятностей. Вы сделали доброе и благородное дело. Мы с вами, верно, больше никогда не сойдемся в этой жизни, и я ничем не буду в состоянии отплатить вам за это...

– Перестаньте, пожалуйста... я вам гораздо больше обязан... После всех этих фигур, с которыми я провел целый месяц, встретил я наконец человека, какого редко найдешь и в столице. Не дадите ли вы мне каких поручений в Петербург? Кому там прикажете кланяться?

– Никому. Благодарю вас. Я умер для всех. Одно существо, которое помнит еще меня... но и его у меня похитили. Бог с ними! Я ни на кого не жалуюсь.

При этом проезжий закрыл глаза рукою, чтоб скрыть выкатившуюся слезу.

– Вы, кажется, говорили, что знакомы с г. Зембиным; не прикажете ли ему сказать чего?

– Ему? Скажите, что ему мертвый кланяется, или нет... лучше ничего не говорите.

Видя, что этот разговор чрезвычайно расстроил путешественника, Сельмин прекратил расспросы, пожал ему руку, простился и ушел. Проезжий бросился на диван и горько заплакал.

«Слава богу, – сказал он сам себе, – у меня есть еще слезы. Я думал, что уж выплакал их».

В этом-то печальном расположении духа ожидала его сцена вовсе другого рода.

Дверь комнаты его тихонько растворилась, и слуга его, Егор, едва держась на ногах, вошел, придерживаясь за стенку.

– Это ты, Егор? откуда?.. Негодяй! И в каком виде!

Егор повалился в ноги.

– Виноват, батюшка, – сказал он ему печальным голосом. – Погубили меня злодеи, напоили, и все насильно. Виноват!

– Насильно! Это на них похоже, а все-таки мудрено. Ну, бог с тобою! Ступай спать, завтра пораньше встань, найми лошадей, и уедем.

– Да, батюшка, уедемте. Здесь просто беда. Видано ли это? Насильно напоили усердного слугу! Я ведь знаю, как вы не любите хмеля, я зарок себе положил никогда не пить.

– Да, я это вижу.

– Виноват, батюшка, простите, я долго отнекивался, отбивался, да злодеи начали обливать меня... Ну, что ж, думал я, и платье испортят, и дар божий пропадет... лучше уж покориться...

– И напился.

– Вестимо, батюшка. Глупый хмель пройдет, а обливаться вином куда большой грех. Злодеи-то не понимают этого... А вы сами умный человек, рассудите...

– Зачем же ты пришел?

– Власть ваша, не гневайтесь, простите.

– Ладно, убирайся спать, да пораньше лошадей.

– Будут, батюшка. Сам припрягусь, только простите, виноват.

– Ну, бог с тобою, ступай.

– Да как же-с можно? Мне ведь надо раздеть вас.

– Не нужно. Я и сам разденусь.

– Как можно-с. Это уж обидно, я вам старый слуга! Был и в Туречине и всегда вас раздевал. Уж коли простили вину, так не обижайте; позвольте раздеть вас.

– Я совсем не буду раздеваться. Ступай.

– Да как же это можно-с! Наш брат, так этак иногда повалится с горя в платье, а барам неприлично. Нет, уж позвольте раздеть вас.

– Я тебе приказываю идти спать! – вскричал путешественник, потеряв терпение. – Хочешь ли ты слушаться меня?

Как ни пьян был Егор, а грозный голос барина образумил его; он ошупью отворил двери и, кланяясь беспрестанно, вышел. Уж за дверьми осмелился он еще проговорить: «Виноват, батюшка, счастливо оставаться». Проезжий запер дверь, бросился опять на диван и вскоре уснул.

Глава II

Он еще спал, а Егор давно уже стоял перед ним в ожидании его пробуждения.

Наконец и путешественник проснулся. Видя перед собою верного своего слугу, он улыбнулся.

– Да ты уж встал, Егор?

– Давно, батюшка, встал и вот жду, как вы изволите проснуться.

– Лучше б ты похлопотал о лошадях.

– Давно, сударь, обегал все село и пришел доложить вам, что дело худо. Видно, здешний барин очень крутой. Никто ни за какую цену не дает лошадей без его приказа. Я уж и к его милости ходил...

– Он, верно, еще спит?

– Нет, батюшка, давно проснулся и хлопочет об отъезде сынка. Он со мною обошелся милостиво, я и об лошадях сказал; он отвечал, что будут и что это уж его дело. Вот, дескать, твой барин встанет, так я сейчас и велю.

– Поди же еще к нему и доложи, что я встал и прошу о лошадях... Пойди, Егор! Больше он у тебя ни о чем не расспрашивал?

– Как же-с! Он спросил, доволен ли я был, угостили ль меня, сыт ли я...

– Я не об этом говорю... обо мне что спрашивал?

– Спросил: откуда едете? Из Питера. Куда? Не можем знать. Как фамилия барина? Не велел сказывать. Где служил? В военной. В каком полку? В гвардии... Уж не знаю, много ли бы он еще задал мне вопросов, но вдруг пришел сынок и упросил батюшку: зачем-де у слуг расспрашивать, да как, да на что? Старик и замолчал. Махнул мне рукою, и я, отвесив поклон, ушел.

– Сходи же и попроси лошадей.

Егор ушел, а проезжий оделся, готовясь сделать прощальный визит хозяину и его сыну. Но вдруг Сельмин сам явился.

– Здравия желаю, любезнейший гость! – вскричал он. – Мне сказали, что вы проснулись и уж собираетесь ехать. Послушайте: я не намерен удерживать вас, но, признаюсь, мне бы страх хотелось, чтоб вы у меня погостили день-другой. Вы мне чрезвычайно понравились, да и сын наговорил мне о вас так много хорошего. Послушайтесь доброго совета. Через час уедет Шаничка и все мои гости вслед за ним. Оставайтесь со мною. Право, вы не раскаетесь. По всему видно, что вы испытали много горя на свете. Кто знает, может быть, вы найдете во мне человека, который вам в чем-нибудь будет полезен. Ну, по рукам.

– Помочь нельзя, утешить еще менее возможно. То, что я испытал и перенес, – выше всякого человеческого воображения. Но я привык уже во всем покоряться судьбе. Благодарю вас искренно за ваше ласковое предложение и с удовольствием принимаю его, потому что вижу в нем не одно любопытство, которое очень обидно иногда, но и сердечное участие, которого я давно не встречал ни от кого.

– Ну, очень рад. Оставайтесь. Я вас излишним любопытством не огорчу, а может быть, дружеским участием и успокою. До свидания. Если хотите, приходите в залу к прочим гостям, а не хотите, так Шаничка сам зайдет к вам проститься.

– Позвольте мне остаться. Я не имею права сетовать на ваших гостей, но с этими господами мудрено найти разговор.

– Вы правы. Оставайтесь же, и до свидания.

Старик ушел, через несколько времени явился и сын.

– Мне батюшка объявил, что вы согласились погостить у него, – сказал молодой Сельмин, – позвольте поблагодарить вас за это дружеское одолжение, это истинный подарок для

него. От всего сердца желал бы, чтоб вы с ним сошлись. Уверяю вас, что он редкой души человек. Теперь позвольте с вами проститься, и если вам когда-нибудь нужно будет что-нибудь приказать в Петербурге, то смею вас убедительнейше просить поручить мне ваши комиссии. Я почту себе за особенную честь и одолжение всякое поручение.

– Очень благодарен вам за это ласковое предложение, – ответил путешественник. – Я на своем веке слышал столько фраз, что искреннее радушие людей мне приятно. Я не воспользуюсь вашим позволением потому только, что у меня ни в Петербурге, ни во всем обширном мире нет ни знакомых ни родни, а еще менее друзей. У батюшки вашего я остаюсь потому только, что это ему угодно; но я уверен, что он в один день соскучится со мною и что я завтра же поеду дальше, а куда... Бог весть!

Они простились, и вскоре по утихающей суматохе в доме узнал он, что молодой Сельмин уехал, а вслед за ним и гурьба гостей.

Тихо вошел в комнату старый Егор.

– А что, батюшка, еще не прикажете укладываться? – спросил он, робко поглядывая на барина.

– Нет! Мы здесь останемся сегодня.

– Вот что-с. Ну, как прикажете. Меня люди звали сейчас завтракать, так я не смел идти...

– Ступай, только не по-вчерашнему.

– Как можно-с. Сегодня и им ни капли не дадут. Не на свои же они будут угощать. Да ведь я и не охоч до вина. Если б не к горлу пристали вчера, так, по мне, пропадай оно.

Он поклонился и вышел. Вскоре после него вошел старик Сельмин.

– Ну, теперь милости просим! – вскричал он. – Будьте как дома. Все разъехались, да и бог с ними. Навернулись, правда, слезы на глазах, как прощался с Шаничкой, ну, да как быть, на то и дворянин, чтоб служить. Не с отцом же сидеть за печкою. Пойдемте ко мне... Фу-ты пропасть! Мне ничего не надобно знать; да имя-то и отчество можно сказать. Неловко без них.

– И меня и отца моего звали Григорьем...

– А! Григорий Григорьевич! Очень рад. Пойдемте же. Погода славная. Я вам покажу весь мой дом, не для хвастовства – вы, может, видали и лучше, а так, чтоб узнали мое житье-бытье.

Молча последовал за ним Григорий Григорьевич (будем покуда хоть так называть его). Проходя залу, увидел он развалины завтрака, только что истребленного. Сельмин привел его в свой кабинет, где приготовлен был чай, и только что усадил своего гостя и начал ему что-то рассказывать, как вдруг тот, глядя на стену, закрыл глаза рукою и залился слезами.

– Что с вами, Григорий Григорьевич? – спросил Сельмин с некоторым беспокойством.

Тот показал ему рукою на висевший на стене портрет. Это было изображение Екатерины.

– Боже мой! – вскричал он с чувством живейшей горести. – И ее я не увижу более!

– А вы, верно, испытали тоже ее милосердие... может быть, даже служили при ее особе...

– О! об этой потере я не помышлял тогда! Глупец! я потерял гораздо более, нежели думал! Я смел забыть, что жизнь моя принадлежит ей и отечеству... Но все равно!.. Воротить нельзя... Предадимся своей судьбе.

Несколько минут продолжалось молчание. Сельмин не знал, что думать о своем таинственном госте, но, видя его в слезах пред изображением Екатерины, он еще более почувствовал к нему уважения и сострадания.

– Я обещал и не буду вас расспрашивать, – сказал он ему наконец, – но истинно соболезную о ваших несчастиях, которые вы, по-видимому, испытали, и удивляюсь только, что

в случае какой-нибудь несправедливости вы не обратились к нашей милосердной матушке царице.

Путешественник склонил голову и погрузился в глубокое размышление.

– Да! вы правы! – сказал он после некоторого молчания. – Она одна могла бы спасти меня... но я и об этом забыл. Теперь кончено. Слово неизменно. Я отказался добровольно от имени, родины, от всего земного. Мне не на кого жаловаться. Мой жребий решен. Где-нибудь в темном уголку земли окончу дни свои, помогая ближнему по мере сил и возможности.

– Последняя черта обнаруживает в вас истинного христианина. Сейте *здесь*, пожнете *там*. Ну, а вы еще не выбрали себе жилища? Еще не решились, где жить?

– Нет! объезжаю покуда тихим шагом всю Россию. Где приглянется уголок, там и поселюсь.

Сельмин немножко задумался и склонил разговор на другие предметы. Потом повел он гостя осматривать дом, сад, все хозяйственные заведения и наконец предложил проехаться по полям. Проезжий повиновался, как автомат глядел на все рассеянно, отвечал без внимания, одобряя все по привычке и светской учтивости.

После дождливой ночи настал прекрасный, теплый день, какие у нас бывают иногда в сентябре под названием *бабьего лета*. Поля были усеяны рабочими, которые самым усердным образом торопились засеять их, пользуясь красным денечком. Вид человеческого трудолюбия и живительный воздух рассеяли несколько молчаливую тоску путешественника. Он внимательнее стал смотреть на красивое местоположение, на перелески, озера, холмы, он чувствовал, что человек никогда не может быть равнодушен к красотам природы. Мало-помалу завел его Сельмин в довольно густой лес. Дорога была чистая, гладкая и изредка поднималась на лесистые крутизны. У одной из подобных высот дорожки они остановились, и Сельмин пригласил путешественника взойти пешком. Выход на гору шел по ступенькам, искусственным образом обделанным ивовыми ветвями, и вился сквозь просеки лип, ольхи и берез. Достигнув вершины, путники увидели красивый павильон с маленьким бельведером. Живший тут сторож отпер им дверь и повел наверх. На открытом бельведере стоял мягкий диван; утомленный Сельмин бросился на него, чтоб отдохнуть. Но проезжий едва окинул взглядом открывшийся с этой высоты ландшафт, как вскрикнул от удивления и с восторгом всматривался в прелестную картину.

Что за странное чувство в человеке при виде красивого ландшафта? Покажи ему порознь все предметы: озеро, лес, гору, деревни, поля, – он равнодушно пройдет мимо них и едва обратит внимание. Но поставь его на вершину горы и покажи эти предметы в панораме, – он будет в восторге. А отчего именно? Оттого ли, что все это в самом деле красиво, или просто оттого, что он стоит на высоте? Последнее всего вероятнее. Проходя мимо каждого из этих предметов, человек видит себя таким маленьким созданием, что ему совестно. Когда же он очутится на высоте, он с какою-то гордостью видит, что, в свою очередь, все они перед ним малы и ничтожны. Ему будто хочется сказать: это все мое! Я царь природы! Увы! – человек ни на шаг без эгоизма.

Сельмин нарочно привез таинственного гостя в этот павильон. Он туда часто возил и своих провинциалов, но зачерствелые их понятия не в состоянии были постичь прелестей природы. Эстетического чувства мудрено было добиться от них. Они знали, что в озере вода, что лес идет на дрова, а в хижинах живут мужики. Чем же тут восхищаться? Насилу Сельмин встретил человека, который немым своим восторгом вознаградил хозяйское самолюбие, которое так часто терпело от равнодушия других посетителей. Он сам открыл несколько лет тому назад эту гору, эту панораму, он выстроил тут павильон, он возил туда всех своих гостей, и вот первый, который дал ему почувствовать все удовольствие открытия места и постройки павильона. Это чрезвычайно льстило его самолюбию. А кто не знает, что оно самый лучший путь к нашему сердцу? Умей только польстить – и ты умнейший в свете

человек. Оскорби самолюбие – ты пошлый дурак. С этой минуты Сельмин вполне удостоверился, что таинственный гость его и учен, и добр, и знатен.

– Это восхитительно! Это несравненно! – сказал наконец путешественник, не переставая глазами пожирать прелести ландшафта.

– Очень рад, Григорий Григорьевич, что вам это понравилось. Здесь мое любимое место. Сам нашел и сам все устроил. Конечно, вы видали много и лучшего. Вы были в Турции, а там природа получше нашей...

– Все хорошо на своем месте, Петр Александрович. И в Константинополе есть прекрасные виды, но чтоб их вполне ценить, надобно...

Вдруг он замолчал, как бы спохватись, что сказал лишнее. Сельмин удивился этой осторожности и спросил:

– А вы были в Царьграде?

– Да!.. когда заключили мир... то из любопытства отпросился. Впрочем, срок был очень короток. Я почти ничего не видел.

– Жаль! А я было обрадовался и хотел пуститься в расспросы. Сам я никуда далее Петербурга и Москвы не ездил, а страх люблю слушать рассказы путешественников. Никаких книг я не читаю, да и некогда, а уж чуть появится путешествие, по ночам не сплю, и прочту от доски до доски.

– А свое отечество хорошо знаете?

Этот вопрос, несколько не политичный, смутил Сельмина. Он, заминаясь, отвечал:

– Ну, о своем что и знать? Ведь уж лучше Петербурга и Москвы нет, а остальное: дома, люди, реки, горы, – все похоже одно на другое. Что тут любопытного?

– Много, Петр Александрович... Вы вот и у себя нашли какое сокровище, а если хорошенько поискать, то нашлось бы и у других много хорошего. Поверьте, что, узнав хорошенько свое, мы бы не так хвалили *чужое*.

– Да ведь о нашем-то и описаний никаких нет, а о чужих краях и книг и картинок бездна. Поневоле читаешь... Да дело теперь не в том. Вам нравится это местоположение?

– Чрезвычайно. Я никак не ожидал найти здесь что-либо подобное.

– Так вот бы вам купить у меня этот павильон да поселиться в нем.

– А ваши гости стали бы приезжать смотреть на меня, как на дикого зверя? Нет! Мне надобно уединение и тишина.

– Да, кажется, очень ясно, что, купив вещь, вы делаетесь ее хозяином. Так разве можно ездить в гости к человеку, который вас не знает и не зовет! Я для того предлагаю вам эту покупку, чтоб вы могли совершенно удалиться от людей. Здесь вас никто не будет знать и видеть, и вы будете всякую минуту любоваться природою и заниматься, чем вам угодно. Что? Как вы об этом думаете?

– Вы очень добры. Не зная человека, вы хотите дать ему убежище. Что, если вы потом будете раскаиваться?

– В чем же? Хорош и ласков сосед, я его навещаю; не полюбил меня, мы не видимся. Вот и все. Мы разве мешаем друг другу? У каждого своя собственность. Никто друг другу не обязан; живет себе как хочет. Право, подумайте. Я бы недорого взял, а не понравится после, соскучитесь, возьму назад.

– Чувствую все ваше доброе расположение. Не заслужаю его и не имея даже средства заслужить и на будущее время, мне совестно быть вам в тягость. Впрочем, и отказываться я не имею права. Искренность и великодушие так теперь редки; я готов принять ваше предложение, где-нибудь надо же будет поселиться, так почему же не в соседстве с добрым и благородным человеком? Моя будет вина, если я ему наскучу. Тогда я удалюсь без ропота и сыщу другое убежище.

– Никакого нет резона надоесть нам друг другу. Вы будете видеть только тех, кого захотите и когда захотите. А соскучитесь сами, уедете, и бог с вами. Так по рукам! Этот павильон и гора, на которой он стоит, с этой минуты ваши. Поздравляю с покупкою.

Приезжий молча подал Сельмину руку в знак согласия и потом продолжал любоваться ландшафтом. Наконец оба поехали обратно домой.

Весь день прошел в разговорах о будущем образе жизни проезжего в нагорном павильоне. Сельмин убедил его взять покуда это место на аренду, выговоря себе за это самую незначущую цену. Ясно было, что он только хотел щадить деликатность незнакомца, назначая за это плату. А как павильон был только построен на летнее время, то решились тотчас же приступить к отделке его и на зиму. Это требовало времени, и до окончания работ проезжий согласился оставаться в доме Сельмина, отправляясь каждый день в новое свое жилище для надзора за работами. Главною надобностию для будущей жизни проезжий почитал книги, и Сельмин в тот же день по расписанию его отправил в Москву нарочного, чтоб привезти оттуда все нужное.

На другой день началась в павильоне работа, и путешественник стал постоянно проводить свои дни, а иногда и ночи, в новом своем жилище. Когда же привезли книги и отделали павильон, то он совсем переселился туда.

В продолжение этого времени, однако же, оба лица узнали друг друга покороче и взаимно почувствовали один к другому уважение. Чем больше Сельмин узнавал проезжего, тем больше открывал он в нем величия души, благородства, познаний и доброты. И тот, с своей стороны, если не находил в Сельмине много образованности, то видел непритворную доброту и искренность. Как скоро какой-нибудь посетитель въезжал во двор Сельмина, путешественник удалялся чрез сад и отправлялся в свой нагорный павильон, но всякий день или Сельмин приезжал туда, или таинственный гость являлся к нему.

Настала и зима. Образ жизни проезжего продолжался тот же, с тою разницею, что он часто заезжал в окрестные деревни к крестьянам, которым нужна была какая-нибудь помощь. Как Егор, старый слуга проезжего, ни приучен был к молчаливости и уединению, но, заведя у себя коров, птиц и других домашних животных, он первый вошел в сношения с окрестными крестьянами и, зная доброту своего барина, пересказывал ему о разных несчастных случаях с ними. Тот сейчас же спешил подавать им помощь, и слава этих благодеяний распространилась повсюду. Мало-помалу начали к нему являться из отдаленнейших деревень за помощью, и никому отказу не было. Это подстрекнуло Сельмина. Он требовал, чтоб его собственных крестьян отсылать к нему, и проезжий повиновался, видя, что Сельмин действительно помогал каждому. Зато другой род помощи прославил путешественника. Пользуясь сведениями, приобретенными в медицинских книгах, он выписал себе из Москвы довольно порядочную аптеку и давал советы и пособия всем, страдавшим каким-нибудь недугом. Многие удачные опыты распространили его славу по всей окрестности, и всеобщее имя *отец и благодетель* было для него лучшею наградою. Другие полезные его занятия увеличили его влияние и всеобщую к нему любовь. Он предался агрономии и заставил большую часть крестьян отказаться от старинных предрассудков. При них он делал опыты, объяснял им пользу нововведений, улучшал их способы земледелия, и все повиновались, потому что верили ему. Мельницы, каналы, дороги – все подверглось постепенному преобразованию. Сельмин ежедневно радовался счастливому случаю, который привел этого человека к нему. Он всякий раз писал об этом к своему сыну, и тот, в свою очередь, благодарил таинственного гостя за дружбу его к отцу.

Кто же он был? Об этом Сельмин перестал наконец и думать. Всегдашнее печальное расположение духа давало чувствовать, что этот человек испытал какое-нибудь великое несчастье, но где, какое, от кого – это было покрыто непроницаемою завесою. Земская полиция добивалась до обнаружения этой тайны, но Сельмин объявил однажды им, что если кто

из них хоть малейшим образом покусятся беспокоить незнакомца, то чтоб не знал и дома Сельмина. А как система угощения его оставалась все в прежней силе, то никому не хотелось терять такое выгодное знакомство. Мало-помалу и это любопытство прекратилось. Все перестали заниматься таинственным путешественником, а он продолжал трудиться для всеобщей пользы и добра.

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается, говорили в старину, и мы должны пропустить без малейшего описания эпизодов целые пять лет. Жизнь этих людей была так однообразна все это время, что нечего сказать о ней. Проезжий решительно сделался отцом и благодетелем всей страны, и даже Сельмин всегда давал ему это название.

Расскажем лучше о случае, который произвел большую перемену в образе жизни пустынного.

Это было в конце мая. Пустынный этот день провел весь у Сельмина; к вечеру, когда он собирался домой, пошел проливной дождь с бурей, грозой, так что старик уговорил его остаться ночевать. Тот остался и поутру встал раньше всех, чтоб уехать в свой павильон. Но едва он начал одеваться, как в дверь к нему выглянула голова привратника Сельминского дома.

– Можно ли, батюшка Григорий Григорьевич, войти к вашей милости? – спросил он его.

– Войди. Что тебе надобно?

– Да у нас приключилась такая оказия... Барин еще почивает... да к нему не всегда сунешься с докладом... Не ровен час...

– Ну, что же случилось?

– Да вот извольте видеть. Вы знаете, что я раньше всех встаю... и двор подмести, и лестницы подтереть, и собак накормить...

– Говори прямо, что случилось?

– Да вот извольте видеть. Встал я ранешенько. После вчерашнего дождя утро было ясное, как ни в чем не бывало. Я отпер калитку на улицу, чтоб и за воротами подмести. Что ж, сударь? на самом пороге калитки, вижу я, лежит ребенок и спит, как божий птенчик, самым сладким сном.

– Ребенок?.. Кто-нибудь из ваших же подкинул.

– Что вы, сударь, Григорий Григорьевич! Как это можно? Кто у нас осмелится подкидывать ребят в барский дом? Да и на что это? У нас, слава богу, станет хлеба про всех. С голоду никто не умирает. С какой же беды подбрасывать детей?

– Кто-нибудь согрешил... незаконное дитя...

– Э, сударь! Бог с вами! У нас этакими делами не занимаются. На селе выдают девок полудетками, по 12, 13 году. Нет, сударь! это не из наших, а уж бог весть откуда. И ребенок не простой, а барский.

– Барский? Что за вздор? Откуда? Мы всех соседей знаем наперечет.

– И мы уж с поваром Филькой по пальцам всех пересчитывали. Выходит, что не из здешнего околотка.

– Откуда же? Это странно! Как ребенок одет?

– По-барскому. И подушечка в головах и теплым одеялом прикрыт. Видно по всему, что сонного принесли и тут положили.

– Это очень любопытно. Я сейчас приду, посмотрю.

Через пять минут пустынный был уже у ворот. Действительно, мальчик лет 4–5 лежал в глубоком сне, окруженный любопытною дворней. Он был одет в суконной курточке, вышитой золотыми шнурками, в белых канифасных брючках; тонкий воротник батистовой рубашки раскинут был по плечам. Подушка и шелковое одеяло довершали доказатель-

ство, что ребенок не из простолюдинов. Прекрасное личико его блистало улыбкою и во сне. Светло-русые волосы вились локонами по шее – словом, то был тип младенческой красоты.

Погруженный в глубокую задумчивость, пустынный долго рассматривал дитя. Какое-то сильное чувство волновало грудь его, но он не сказал ни слова и тихими шагами пошел назад в свою комнату.

– Что ж, батюшка Григорий Григорьевич, прикажете с ним делать? – спросил привратник.

– Ты останься тут и покарауль ребенка, – отвечал пустынный, – а вы все разойдитесь по своим местам.

Последнее было сказано дворне, которая молча повиновалась. Сам же он отправился к Сельмину.

Долго еще спал ребенок. Наконец он потянулся и открыл глаза. С минуту смотрел он с удивлением на окружающие предметы, потом с боязнию вскричал:

– Няня, где ты?

– Няни твоей здесь нет, милое дитятко, – сказал ему привратник, – но ты у добрых людей, и они тебя не покинут.

Пристально посмотрел ребенок на говорящего мужика и не отвечал ни слова. Через минуту, однако же, снова закричал:

– Няня!

– Не пора ли вставать, сударь? Умойся-ка да помолись богу.

– А где няня?

В эту минуту пришли Сельмин и пустынный.

– А! душечка, здравствуй! – вскричал Сельмин. – Выспался ли ты? В гостях не надо так долго спать. Вставай! Пойдем чай пить.

С недоверчивостью посмотрел ребенок на говорившего.

– А где папа? в карете? – спросил он.

– Нет, душечка, и папа и карета уехали, а ты остался у нас погостить.

– А мама? Где мама? – прибавил он робко.

– Тоже уехала, да она воротится; а ты у нас покуда погостишь, поиграешь... Пойдем же в комнату. Ты пьешь по утрам чай?

– Как же! Да сперва надо вымыться и помолиться... А что, разве теперь утро?

– Разумеется. А что же по-твоему?

– Не знаю: я уснул недавно в карете... Солнышко садилось в черные тучи. Мы ехали так скоро... А когда приехали и как остановились здесь – не помню.

– После вспомнишь, дружок, теперь пойдем.

Ребенок повиновался. Однако же, пройдя несколько шагов, остановился, поежился, пощупал свою грудь, засунул руку за курточку и вытащил оттуда какую-то бумагу.

– Что это? – спросил Сельмин.

– Не знаю. Разве няня положила. Я буду после вырезать из нее куклы.

Но Сельмин взял уже бумагу, прочел ее, внимательно посмотрел на пустынного и молча повел ребенка за руку в комнаты. Там сдал он его на руки своему камердинеру, чтоб его умыть, дать помолиться и потом привести к нему. Сам же пошел с пустынным в кабинет.

– Поздравляю, любезный Григорий Григорьевич, – сказал он ему полушутливым тоном. – Это подарок тебе.

– Как мне? Какой подарок? – вскричал тот, покраснев.

– Да уж нечего краснеть. Прочти и признавайся.

Он ему подал бумагу, вынутую ребенком из-за пазухи. Она была без подписи, но едва пустынный взглянул на нее, как закрыл глаза рукою и опустил в кресла.

– Это от него! – вскричал он. – Несчастный! вражда его так же слепа, как и непримирима.

Тихо начал он читать роковую записку. Она была следующего содержания.

«Петр Александрович человек добрый и благородный. Но я очень сожалею, что он дал убежище другому человеку, который не стоит его дружбы. Наруша священнейшие узы природы, может ли он быть верным кому-нибудь? Притом же у этого человека нет ни имени, ни звания. Он добровольно отрекся от них, потому что чувствовал себя недостойным быть в обществе благородных людей. Каким же образом он вкрался в доверенность Петра Александровича?.. Впрочем, это не мое дело. Мой долг был только предостеречь. Между тем прошу Петра Александровича передать этому человеку ребенка, которого я нарочно оставил у ворот. Скажите вашему знакомцу, что мне чужого не надо и что я без живых доказательств знаю всю правду. Скажите ему, что ребенок этот умер для всего света, потому что я представил уже и свидетельство об его смерти. Если этот человек хочет пощадить хоть сколько-нибудь известную ему особу, то чтоб я никогда не слышал больше ни о нем, ни о ребенке».

Долго смотрел пустынный на мертвые, таинственные буквы письма, так жестоко напоминавшие ему несчастную его судьбу. Он совсем забыл, что перед ним стоит Сельмин и с любопытством наблюдает за каждым выражением его физиономии. Прошедшее в виде грозного привидения представилось ему вдруг так ясно, что он невольно зарыдал.

– Ради бога, любезный Григорий Григорьевич, успокойтесь, – с искренним чувством сказал Сельмин. – Несчастья никогда не должны побеждать истинного христианина. Вы сами столько раз мне твердили, что жизнь наша не что иное, как испытание. Переносите его мужественно и верьте в правосудие божие.

– Да! Оно одно только и остается мне, потому что от людей я ничего не ожидаю, кроме злости и несправедливости. Я и решился переносить свою судьбу без ропота. Я сам себе ее выбрал и прощаю моих врагов. Но я хотел терпеть *один*, а теперь!.. Этот бедный ребенок... За что он осужден? Может ли быть что бесчеловечнее и несправедливее?

– Вы знаете, что я уже уважаю все ваши тайны, но я не вижу причины так огорчаться участью ребенка. Если он был в руках у человека, который жесток и несправедлив, то не лучше ли ему быть у вас? Вы ему замените отца... А что касается до странного объявления в письме, что он выдал его за умершего, то, кажется, это всегда легко переделать. Если тот, кто писал эту записку, действительно нашел средство достать свидетельство о мнимой его смерти, то вы сейчас же можете послать просьбу в Синод; оттуда пошлют по всем епархиям, и верьте мне, что у нас ничего подобного сделать нельзя. Я даже думаю, что вам только хотели погрозить или огорчить вас. Все, что незаконно, сейчас разрушится перед малейшим разысканием правительства.

Мрачно опустил путешественник голову на грудь. Успокоили ли его убеждения Сельмина, или собственная решимость одержала верх над первым порывом отчаяния, он через минуту вздохнул свободнее и протянул руку великодушному своему хозяину.

– Душевно благодарю вас, добрый Петр Александрович, – сказал он ему, – за ваше сердечное участие. Вы совсем забываете, что письмо говорит вам обо мне. Я не стою вашей дружбы и доверенности.

– Вот видите ли, Григорий Григорьевич, у меня дурная привычка судить о людях не по словам, а по делам. Если бы писавший это письмо был прав, то он бы подписал свою фамилию или сам бы явился, чтоб уличить вас в том, в чем он может обвинить. Он этого не сделал, так я покуда почитаю его за клеветника, а о вас остаюсь при прежнем своем мнении. Не переменяйтесь и вы ко мне, и, верьте, у нас пойдет хорошо. Через два-три дня мы и забудем о письме.

– Нет, любезнейший Петр Александрович, долг мой требует теперь оставить вас. Я не хочу, чтоб кто-нибудь мог подозревать меня в бесчестных поступках. Сегодняшнее письмо,

этот ребенок – все должно подать вам повод к догадкам, невыгодным на мой счет. Открыть всего я вам не могу. Вы сами теперь видите, что это не *моя* тайна. А быть предметом каких-нибудь подозрений, пересудов всех соседей...

– Ну, уж воля ваша... Человек вы умный, а говорите бог знает что. Мы, кажется, с вами живем не день, не два. Кажется, могли узнать друг друга. Неужели вы думаете, что я стал бы притворяться перед вами и не выказал бы всего, что думаю и чувствую? Ошибаетесь, Григорий Григорьевич. Я уже отживаю свой век и не переменюсь ни для кого. Вы видите, я чай, как я трактую всю губернию. Хорош, так очень рад, дурен, так и вон прощу; я к этому всех здесь приучил, и все это знают. С первого взгляда вы мне понравились; чем более узнавал я вас, тем сильнее чувствовал к вам дружбу и уважение. Теперь хоть сто писем и столько же ребят пусть присылают, я ни на волос не переменю своего мнения. Оставить меня вы можете, это в вашей воле, но это будет величайшая с вашей стороны несправедливость. У меня отнимаете вы одного друга, которого я здесь имею, а весь околоток лишите благодетеля и покровителя. За что? За то, что безыменное письмо вас бранит... Ну, основательно ли это? Воля ваша, а вы не правы.

– Да, не прав, и благодарю бога, что он мне послал человека, который меня мирит с человечеством. О! несчастное письмо право: оно вас назвало человеком добрым и благородным. Оно право и в том, что я человек без имени и звания и что сам добровольно отказался от них...

– Да бросьте вы, пожалуйста, это глупое письмо, я о нем и знать не хочу. Кто-то подкинул сюда ребенка. Тем лучше. По русским приметам, это божие благословение. Мы заменим ему место отца, и поверьте, что дитя будет счастливо. Ну же, Григорий Григорьевич, вашу руку!.. забудьте все, что теперь случилось. Вы не должны со мной расстаться, не правда ли?

Молча подал пустынный руку Сельмину. В эту минуту привели ребенка, который все еще робко и печально озирался.

– А! здравствуй, дружок, – сказал ему Сельмин. – А как, бишь, тебя зовут?

– Саша.

– Ну, так, Сашенька, садись вот сюда и пей чай. Послушайте, Григорий Григорьевич, – сказал он, обратясь к пустыннику. – Не из пустого любопытства, а только чтоб познакомиться с дитятею, я его буду обо всем расспрашивать, на что он отвечать может. Не огорчит это вас?

– Тот, кто так жестоко и бессовестно оставил своего сына на большой дороге, верно, знал, что ребенка будут обо всем расспрашивать. Следственно, это его дело. Таинственность нужна ему, а не мне.

Сельмин начал свои расспросы.

– Ну, откуда же вы, дружок, ехали? из Москвы или из Владимира?

– Не знаю.

– Ты тогда говорил, что видел солнце, как оно садилось. С которой стороны оно было?

– Ни с которой. Оно все уходило за карету. Я становился к дверцам, чтоб видеть его.

– Значит, вы ехали из Москвы. Ну, а много ли вас сидело в карете?

– Четверо: я, папа, няня и Егор.

– А мама?

– Мама осталась дома. Она плакала...

– О, ради бога, Петр Александрович, – вскричал пустынный, – не спрашивайте у него о бедной матери. Мы с ним оба заплачем.

– О, будьте спокойны. Вопросы мои будут самые невинные. Ну, дружок Саша, а долго ль вы ехали с папенькой в дороге?

– Не знаю.

– Ночевали ль вы где-нибудь дорогою?

– Не знаю. Я спал. У нас горели фонари в карете. Я смотрел на них и спал.

– Ну, а помнишь ли ты, что ты вчера делал?

– Помню. Вчера мы тоже ехали, где-то обедали. Вечеру я чаю не пил, а дали мне рюмку чего-то сладкого. Я помаленьку все выпил. Мне захотелось спать... Тут мы приехали домой... я видел маму, папу. Она все плакала и целовала меня, а папа все кричал и сердился.

– Это было во сне.

Ребенок отпил чай, и опять стал звать няню.

– Ее, душечка, нет здесь. Ее увез папа. Они будут через несколько дней.

– Да мне папа не надо. Я хочу няню.

– Да, если папа не хочет, чтоб ты был с нянею, так ведь надо же его слушаться?

– Ах да! Он и то все сердится.

– За что же? Ты, верно, все шалишь, капризничаешь?

– Я при нем и не пошевелинусь, а он все бранит.

– Ну, это все пройдет. Вот тебе новый папа, – сказал Сельмин, указывая на пустынного. – Он не будет браниться.

Робко посмотрел Саша на пустынного и печально склонил голову.

– Ну, чем же ты занимаешься? Во что играешь? Какие у тебя игрушки?

– Да у меня были разные куклы, разносчик, солдаты, молочница, пузатый немец. Они ходили друг к другу в гости, разговаривали, и мне было весело.

– Ну, я тебе велю купить новых кукол, а куда их привезут, что ж ты будешь делать?

– Я буду из бумаги вырезать. Дайте мне ножницы и бумажки.

– Хорошо, дружок, все получишь. Будь только умницей и не скучай.

Любопытно было посмотреть на старого добряка, который принялся хлопотать около мальчика, чтоб его рассеять и занять. Он не менее самого ребенка был доволен, когда увидел, что тот забыл все свое горе и преспокойно стал вырезать бумажные куклы, которые заставлял ходить, говорить, плясать и сражаться. Когда он соскучился этими играми, Сельмин повел его по саду, рвал для него цветы, ловил бабочек, и таким образом в продолжение дня Саша привык к нему, полюбил его и ни разу не вспомнил о няне. Пустынный провожал их повсюду, хотя и редко мешался в разговор. По всему было видно, что он с трудом преодолевает сильное волнение чувства, и Сельмин не обращался к нему вовсе ни с какими вопросами.

К вечеру все трое отправились к пустынному в павильон, и Саша чрезвычайно был доволен дорогою и новым своим жилищем. Сам Сельмин устроил мальчику кровать, уложил его и не прежде уехал, как тот уснул. С жаром пожал пустынный при прощании руку благородного старика и долго смотрел ему вслед, когда он уехал. Тут только, предоставленный самому себе, несчастный снова зарыдал и бросился на землю, но из этого отчаяния извлек его голос другого друга, не менее преданного, хотя и более скромного, голос старого его слуги.

– Батюшка, Григорий Григорьевич, – сказал он, подойдя к нему, – пожалуйста в комнату. Теперь роса, трава мокрая, простудитесь.

Тот угрюмо взглянул на него и не отвечал ничего.

– Сделайте милость, встаньте и пожалуйста в комнату. Послушайтесь старого своего слуги. Ей-богу, простудитесь.

– Что ж за беда? – сказал сквозь зубы пустынный. – Скорее конец. Жизнь моя никому не нужна. Одним несчастным на свете менее.

– Грех, сударь, большой грех накликасть на себя болезнь и смерть. Вы всегда были, право, добрым христианином и знаете Писание. Если бог наслал горе, надо терпеть его. На том свете все с лихвою заплатится. А теперь надо беречь себя. У вас теперь есть о ком и позаботиться. Бог дал вам нежданного гостя.

– Ты знаешь ли, кто этот ребенок?

– Как же не знать, сударь? С первого взгляда узнал. Как две капли воды на отца похож и на вас, Григорий Григорьевич. Ах ты, боже мой! Что это сделалось с Иваном Григорьевичем, что он собственное свое детище...

– Молчи и никогда никому не смей проговориться, что знаешь, чей он сын. Ты прав. Я теперь должен посвятить свою жизнь, чтоб загладить вину брата, сделав счастье его сына. Пойдем... Смотри, с этой минуты будь неотлучно при нем. Береги его как глаз...

– Вестимо, батюшка, Григорий Григорьевич, кому же и присмотреть за дитятею? Я ведь один у вас. Займу его не хуже няньки Василисы.

Пустынник вошел в комнату, взглянул на спящего ребенка, повергся пред иконою Божией Матери, и теплая молитва успокоила наконец бурю его чувств. Он стал хладнокровнее, рассудительнее; обдумал все будущее и составил себе план, каким образом воспитать ребенка.

Глава III

Как медленно текут часы и как быстро пролетают годы! Вот вечная жалоба людей, которым нечего на свете делать. Найдите же себе занятия, которые бы развивали ваши познания, займитесь таким делом, которое полезно всему обществу, и вы увидите, что и часы текут слишком быстро, что вам бы надо было не 24 часа в сутки, а, по крайней мере, 36, и что слово *скука* изобретено праздностью и невежеством. Человек создан для деятельности, для усовершенствования самого себя. Это цепь его занятий, и она бесконечна. Дойдя до предела жизни, всякий сожалеет о лучшей половине дней своих, даром потерянных, без пользы погубленных. Всякому хотелось бы воротить их, но неумолимая смерть выводит его в вечность, и чем мы там будем заниматься, известия еще не дошли до нас. Так до времени трудитесь, делайте что-нибудь полезное, а пуще всего не скучайте. Это самая дурная рекомендация вашей образованности. У человека много есть предметов, которыми можно заняться.

Пока у Сельмина не поселился пустынник, старик часто скучал, хотя всякий день у него были гости. Теперь он все жаловался, что недостает времени на исполнение всех планов, которые он ежеминутно предпринимал. Пустынник с первой минуты своего поселения в павильоне был бы очень несчастлив, если б стал только заниматься своим горем. Но он вздумал быть благодетелем окрестной страны, и это занятие смягчило удручавшую его печаль. Теперь появление Саши было для него новым ударом, но он отчаянию противопоставил веру в Провидение и победил горе беспрестанными заботами о дитяти. Сперва слух о чудесном появлении ребенка привел в движение все умы и языки окрестных провинциалов, но после многих догадок и советов все решили, что это сын пустынника, которого он сам велел привести, что это, вероятно, плод какой-нибудь таинственной любви и что Сельмин только притворяется, что будто ничего не знает, а в самом-то деле, верно, заранее знал обо всем. Таким образом перестали наконец говорить и об этом, а пустынник между тем продолжал заниматься воспитанием ребенка.

Система детского воспитания находится еще на степени младенчества. В науках, в механических искусствах, в гражданском законодательстве, в промышленности и комфорте мы делаем чрезвычайные успехи, и все уверяем себя, что человечество идет вперед, а главный предмет человеческой жизни – *первоначальное образование человека* все на той же самой степени, на какой было за сто, за двести, за триста лет. Конечно, это не России касается. Настоящая ее жизнь началась только с благословенной династии Романовых, а первоначальное воспитание с великого монарха-самоучки, который сперва сам всему выучился, чтоб после учить свой народ. Следственно, мы – младшая семья европейской образованности и во сто лет не могли далеко уйти. Но наши старшие братья, что же они делают? Как они воспитывают своих детей? Заботятся ли они, чтоб с малолетства делать из них людей полезных, добрых, образованных? И не думают! Тысячи ученых обществ толкуют о физиологии человеческого рода, а ни одно не вздумает заняться исследованием, как воспитать младенца. Как было прежде, так и теперь, так и в будущем поколении. Сперва избалуют ребенка на руках необразованных мамок и нянек, которые натолкуют ему всякий вздор, как будто стараясь подделаться под идеи детей. Сперва изнежат его или излишнею заботливостью матерей, которые думают, что любят детей своих, когда исполняют их капризы, или при равнодушии светских родительниц оставят ребенка на произвол нянькам и слугам, которые внушают ему все чувства своего состояния и невежества. Учить его слишком рано бояться, чтоб не утомить слабые силы умственных способностей; потом вдруг принимаются мучить детей разными азбуками, складами, письменами, грамматиками, цифрами, ландкартами, историями, и несчастное создание сидячею жизнью и утомительным напряжением памяти добьется наконец до 20 лет. Тут он начинает другой младенческий возраст. Он в обществе столько

неопытен, как и пятилетнее дитя. Целые 20 лет проводит с такими малолетками, у которых образовались свои идеи, свои правила, свои мечты. Во все это время видел он из взрослых только своих учителей, и те вовсе не думали говорить ему об обществе и его условиях; они толковали только о науках, которые обязаны были преподавать, и то каждый по своей методе. Родители же и знакомые, с которыми он иногда видался в это время, говорили ему одно: учись, душенька, и обращались как с ребенком, не почитая за нужное посвящать его в таинства вседневной, общественной жизни. Таким образом выучившийся юноша вступает в свет, не зная о нем ровно ничего. Лет 10 надобно ему горькою опытностью и неудачами добиваться познаний, как жить и вести себя с людьми, как снискивать их дружбу и как самому быть полезным другим. И вот ему уже 30 лет. Вот когда он начнет только жить... Что ж, надолго ли? Через 10 лет он уже говорит, что ему пятый десяток и что ему все надоело. Следственно, он жил 10 лет! Бедное человечество!

А самая метода учения! Кто ее выдумал? Верно, это наследие готов и вандалов. Все основано на механизме памяти, ничего на рассуждении; все сидеть да твердить; все по приращению, из наказаний или награждений: собственного побуждения, любопытства, жажды к познаниям никто не добивается. Как будто бояться сделать их слишком рано людьми. Варварские, арабские цифры идут прежде ясной геометрии.

Учат географии, не дав понятия об астрономии. История становится вытверженной хронологией: о моральном смысле ее никто не думает; о применении к познаниям нравов, законов, военного искусства, идей промышленности и торговли никто не заботится. Учитель учит, потому что получает за это плату. Курс кончен, на экзамене отвечал бегло, ступай в свет; служи, живи, женись – и воспитывай детей своих точно так же. Это ужасно! О всем пишем, пишем истории, романы, повести, драмы, стихи, а иногда и ученые книги. Подвинули ли они воспитание хоть на шаг? Нисколько. Пишут иногда и об этом предмете, но все это спекуляция, а философическо-физиологическая цель, к чему она? Разве кто живет для этого? Живут для того, чтоб сделать карьеру или обогатиться, все прочее вздор. Да если бы и стал кто-нибудь писать подробную поучительную чепуху, разве бы кто послушался его? И не взглянули бы на такую книгу.

А сколько, сколько надобно писать о способе воспитания!.. И не о методах учения, а о воспитании с самого младенчества. Когда, по-видимому, это маленькое существо лишено еще способности рассуждать, уже тогда зарождаются в нем пороки и добродетели, которые характеризуют его в зрелом возрасте. Первая болтовня, первые идеи, первые привычки, впечатления составляют основу этого животно-умственного создания, называемого человеком. Эти игрушки должны бы быть первыми наставителями его; убаюкивания кормилицы должны бы были заключать в себе нравственные идеи; болтовня няньки должна уже внушать правила жизни и добра. Мы стараемся применить к детским идеям, чтоб они могли понимать нас. Какая жестокая ошибка! Мы должны их возвышать к нашим понятиям. Не заботясь о присутствии детей, мы кричим, ссоримся, бранимся при них, а иногда и хуже этого делаем: это первый зародыш будущих их пороков.

Но довольно! Все это мечты, и если они когда-нибудь сбудутся, нас давно не будет. Наше дело только сказать, что пустынный понимал всю важность первоначального воспитания детей и почти безотлучно был при Саше, чтоб караулить все его впечатления и направлять все мысли. Он выучил его говорить по-французски и по-немецки тем, что каждый день в неделю назначен был для которого-нибудь из них. Читать он выучился уже тогда, как умел писать, то есть соединяя обе вещи без азбуки и складов. Геометрию знал он прежде, нежели умел сделать сложение. По вечерам в ясную безлунную ночь умел он назвать все звезды на горизонте и знал главные свойства каждой планеты, не зная еще географических границ Европы. Всемирную историю мог он рассказать, как приятную сказку, не зная еще, что сам он русский и что цель жизни его – польза отечества. И все это он приобрел, не сидя и не

сгибаясь за школьную лавкою, где обыкновенно приходят с полуготовым или вовсе невыученным уроком для того, чтобы разговаривать с товарищем о будущих или прошедших шалостях, – нет, он узнал это, бегая по полям, работая в саду или привыкая к хозяйству. Собственное любопытство его требовало пояснения: каким образом делается масло или отчего гремит гром? Как печется хлеб и куда заходит солнце? Из чего делается рубашка, откуда берется дождевая вода в облаках? Чего он не понимал, то спрашивал другой, третий, десятый раз – и таким образом затверживал все.

Так прошло десять лет. Саша был уже 15-летний мальчик, и Сельмин не мог надивиться и нарадоваться его успехам. Один пустынник замечал только странную черту этого юношеского характера и приписывал ее первым годам детства, проведенным с матерью, с няньками, которые его баловали, и с отцом, которого он боялся, как зверя. Саша был робок с мужчинами и весел, жив, остер с женщинами (которые иногда приезжали к Сельмину); впрочем, он надеялся, что публичное воспитание, которое было ему еще необходимо, изгладит эту странность.

В тот день, как ему минуло 15 лет, пустынник объявил ему, что в скором времени отвезет его в Москву и отдаст в университет, чтобы там окончить курс наук. Это известие сперва испугало, опечалило Сашу. Он привык ко всем существам, мелькавшим вокруг него, и прежняя жизнь совсем изгладилась из его памяти. Об отце и матери вспоминал он чрезвычайно редко, и то как будто отдавая себе отчет в смутном сне, когда-то им виденном. Ни Сельмин, ни пустынник никогда не говорили ему о первых днях его младенчества. Ему же самому и в мысль не приходило, что он должен быть чей-нибудь сын и иметь какую-нибудь фамилию. Зная в области наук гораздо больше, нежели обыкновенно в эти года знают, он не знал, что был чужой всем окружающим его лицам. Привыкнув звать *дяденькою* и Сельмина и пустынника, он думал, что ему больше ничего не нужно. Увы! этот приятный обман должен был вскоре кончиться.

Пустынник сообщил, разумеется, свой план Сельмину, и тот не только одобрил его, но еще решился ехать с ним в Москву. Имя его и знакомства могли там помочь Саше и отвлечь всякие затруднения при приеме, а таинственность пустынника умножила бы их только. Хотя пустынник и чувствовал, что эта поездка была новою жертвою его дружбы, но он не отказался от нее, потому что польза Саши требовала того. Сам он не мог явиться в общество. С лишком 15 лет протекло с тех пор, как он оставил свет, и в это короткое время все изменилось в обществе, в котором он жил. Екатерины II не стало, известие об этом повергло пустынника на несколько недель в глубокую печаль. Мало-помалу газеты известили его, что большая часть людей, которых он знал в свое время, исчезли с политической сцены. Явились другие, и отчуждение от света казалось теперь пустыннику не так уж тягостным. Но вот прошло еще четыре года, и новое, славное царствование озарило Россию. Опять он узнал, что новые светила взошли на горизонт общественной деятельности, и ему теперь казалось, что он, являсь даже под настоящим своим именем в свет, был бы совершенным *пустынником*. Так одно десятилетие изменило все.

Во время своей пустыннической жизни у Сельмина он через него познакомился с одною важною духовною особою, и как печальное состояние его души влекло его к набожности, то он часто старался видаться с этим архипастырем. Тот тоже чрезвычайно полюбил его, и беседы их всякий раз открывали прекрасные качества души обоих этих лиц. Под печалью духовного покаяния вверил пустынник всю тайну своей жизни этому человеку, который принял с тех пор живейшее участие в судьбе страдальца и в маленьком приемыше, которого рождение было теперь ему известно. По самому счастливому стечению обстоятельств случилось, что в то именно время, как пустынник собирался ехать в Москву с Сашею, эта духовная особа была вызвана туда же для занятия какого-то значительного поста духовной иерархии. Он сам предложил пустыннику по приезде своем в Москву остановиться у него

в монастыре, бывшем где-то за городом, и это было для пустынника новым счастьем. Он чувствовал, что нельзя оставить Сашу на произвол судьбы и что ему должно поселиться в Москве на все время его университетского курса. Предложение духовной особы спасло его от сообщества со светом, а ходатайство Сельмина должно было помочь формальному ходу приема Саши.

Приготовления к отъезду тянулись очень долго, потому что прием совершался весною, а они начали собираться с осени. Наконец решено было отправиться по последнему санному пути в Москву.

Более всех доволен был Саша. Он уже столько начитался о чудесах Москвы, что воображение его рисовало ему во сне все здания, которых описание он находил в книгах. После Саши старый Егор был особенно рад счастью юноши. Он во все это время заменял ему няньку и дядьку. Привязанность его к нему равнялась неизменной верности к пустыннику. Одним словом, он был один из тех типов служительской преданности, какую можно найти только в России.

Наконец все отправились в Москву и пристали в монастыре у духовной особы, которая ранее их уже туда приехала. Разумеется, только пустынник с Сашей остались тут, а Сельмин через два дня переехал в город к одному из своих знакомых. Сына его, Сашеньки, который уже был тогда капитаном гвардии, не было тогда в Москве: Аустерлицкая кампания вызвала русских на первую попытку с Наполеоном. Со дня на день ждал Сельмин известия о возвращении, потому что война была кончена и, по газетам, войска наши уже давно шли обратно на родину. Носились, правда, слухи, что, вероятно, скоро опять придется подраться, потому что с Наполеоном мудрено было ужиться; но эту государственную тайну знали немногие, а массе народа какое было дело до будущего. Сельмину только хотелось свидеться с своим Сашенькою, обнять его, благословить и опять махнуть рукой на многие лета.

Тотчас же по приезде пустынника отпустил он Сашу с Егором, чтоб осмотреть Москву. Можно вообразить себе впечатление, которое произвел на Сашу вид обширной столицы! Церкви, здания, площади, многолюдство – все его изумляло и восхищало. Вдруг какая-то задумчивость овладела им. Только в эту минуту какое-то смутное воспоминание привело ему на память, что когда-то он видел тоже такие здания, храмы, улицы; но где, давно ли – в этом он никак себе не мог дать отчета. Он спросил, однако же, Егора об этом, и тот имел довольно догадливости, чтоб уверить его, что это был сон.

– Вы, сударь, дома начитались в книгах столько о Москве, – сказал он ему, – что вам, верно, часто снилось об этом... Вы мне даже не раз рассказывали об этом. Вот теперь вам кажется, что видели где-то Москву.

Саша принужден был согласиться, потому что другого ничего не придумал.

Хлопоты Сельмина о приеме его в университет начались тотчас же по приезде. Тогда существовал еще во всей красе университетский благородный пансион, и туда-то надобно было поместить Сашу, потому что поступающие оттуда в университет пользовались большими преимуществами, если не в правах и чинах, то, по крайней мере, в общественном мнении. Хотя неважного труда стоило достать свидетельство об его рождении и крещении, но пустынник имел, конечно, причины желать, чтоб Саша поступил под другою какою-нибудь фамилиею. Следственно, главное затруднение предстояло в том, чтоб убедить ректора принять Сашу под чужим именем. В этом помогла ему та духовная особа, с которою пустынник познакомился еще в деревне Сельмина. Зная тайну его жизни, он сам отправился к ректору и, не открывая ему причин, побуждавших скрывать фамилию ребенка, ручался, однако, что рождение его законно и что он родовой дворянин. При выпуске надеялся он, что обстоятельства позволят принять ему настоящую фамилию, но до тех пор он просил, чтоб один ректор знал ее и хранил у себя его бумаги. Подобной особе отказать было нельзя, и Саша внесен был в список под именем г. *Тайнова*.

Сам же архипастырь привез потом и Сашу вместе с Сельминым и пустынником. По особому уважению к лицу ходатая освободили даже Сашу от обычного экзамена при приеме, потому что ректору представлен был реестр предметам, которым тот обучался. Их было гораздо более, чем требовалось, следственно, ректор не хотел показать ни малейшего сомнения к словам протектора молодого ученика.

Объявлено было, что испытание сделано и что Александр Тайнов получил полное число баллов.

Дружески пожал покровитель руку ректору и после дружелюбного разговора уехал с Сельминым и пустынником, оставя Сашу, которого ректор отвел в класс и наилучшим образом рекомендовал профессору, читавшему в это время свою лекцию.

С любопытством смотрели на Сашу прочие молодые студенты, и слово *протекция* перелетало шепотом по всем скамьям. Все полагали, что Саша не более как *маменькин сынок*, который явился для того, чтоб посидеть между ними года два, взять аттестат и служить потом под крылышком какого-нибудь *благодетеля*. Однако же мнение это переменялось, когда профессор обратился к Саше с некоторыми вопросами, чтоб узнать, знает ли он хоть *что-нибудь*. Саша, от природы довольно словоохотливый, не потерял присутствия духа и высказал все, что знал по этой части. Все были в изумлении. Сам профессор осыпал вновь прибывшего похвалами, и с этой минуты прочие студенты увидели, что молодой Александр Тайнов заслуживает их дружбу и уважение.

Когда класс кончился, профессор снова вступил в разговор с Сашею, и все окружили их. Когда же профессор ушел, толпа студентов не отходила от нового товарища. Всякий осыпал его вопросами, на которые бедный Саша отвечать почти не мог. Его спрашивали: кто его отец, где служит, где живет, богат ли, много ли крестьян, в каком пансионе Саша воспитывался и т. п. Кое-как объяснил он самым настойчивым все, что пустынник приказал ему рассказывать, и это снова расхолодило жар студентов. «Дьячок, *семинарист!*» — ворчали они и, пожав плечами, удалялись. Когда же увидели Егора, который пришел за ним и звал его домой в *монастырь*, то большая часть студентов начали громко смеяться над бедным молодым человеком, который почти со слезами спешил уйти от них.

Придя домой, рассказал он все происшедшее пустыннику; тот успокаивал оскорбленное самолюбие юноши всеми возможными доводами рассудка и религии. А Сельмин еще более потом убедил его, рассказав, что везде так поступают с новопринятыми и что это больше делается из зависти к его познаниям.

На другое утро отправился он опять с Егором, которому Сельмин приказал отнести какое-то письмо к ректору. В этом письме описана была встреча, сделанная Саше студентами. Сельмин просил ректора оказать юноше свое покровительство по этому случаю. Ректор опять отвел сам Сашу в класс и, рекомендуя другому профессору, объявил, что вновь принятый студент воспитывался у духовной особы, известной своим строгим благочестием, а потому просил профессора внушить всем прочим студентам, чтоб они над новопринятым товарищем не смеялись и еще менее смели бы обижать его, в противном случае подвергнутся взысканию. По уходе ректора профессор сказал несколько поучительных фраз и принялся за Сашу, чтоб испытать его познания. И на этот раз испытание кончилось самым удачным образом: Саша отвечал быстро, ясно и удовлетворительно.

Когда кончился класс, студенты в ожидании прибытия другого профессора обступили Сашу и, не решаясь явно нападать на него, старались язвить намеками и остротами. Однако же приход профессора прекратил эту сцену, и Саша на этот раз сам явился рекомендоваться.

— Г. ректор говорил уже мне о вас, г. Тайнов, — отвечал профессор, — и мне очень приятно иметь в числе своих учеников такого отличного молодого человека.

Эти всеобщие похвалы и хороший прием начальников убедили вскоре прочих студентов, что гораздо лучше подружиться с Сашею, нежели ссориться с ним. Ближайшие това-

рищи его на той лавке, где он сидел, прежде всех старались связать с ним знакомство. Первые попытки их были, однако же, не очень удачны, потому что Саша, по новости ли самого положения, по действительной ли склонности к учению, обращал все свое внимание на слова профессора и просил своих товарищей не мешать ему слушать. Это рассердило его соседей.

По окончании классов профессор остался на некоторое время между студентами для частного разговора с некоторыми из них. Тут два обиженные товарища пристали к Саше с бранью, – профессор тотчас же помирил их. Еще явился один из старых студентов, Леонов, и просил товарищей не дразнить Сашу, объявив себя его защитником.

В эту минуту пришел Егор, и как новый защитник Сашин уговаривал его идти с ним погулять, но он решительно же объявил, что обязан являться к своему *дяде*. Саша, облаканный ректором, отправился со своим Егором домой.

Глава IV

Саша учился на славу и вел себя отлично. Однако же сам пустынник, которому он ежедневно пересказывал о своих занятиях и прочих происшествиях, советовал ему не отклоняться от дружбы товарищей. Он дал ему позволение ходить в гости, когда его приглашают, и, стараясь только удаляться от пороков, входить, однако же, в общества и сообразоваться с направлением занятий. Позволение сначала обрадовало Сашу. Он спешил им воспользоваться, и Леонов – тот студент, который прежде принял Сашу под свое покровительство, – был первый, к которому он явился. Тот был в восторге и ежедневно более и более сближался с *келейником* (так решительно все прозвали Сашу). Несколько раз звал он его к себе в гости, но Саша всегда отговаривался строгим приказанием дяди. Теперь вдруг Саша сам к нему явился, и молодые люди решительно подружились.

Леонов был из хорошей фамилии. Отец его был полковником и в итальянскую кампанию 1799 года пал под Нови. Оставшаяся после него вдова занялась воспитанием детей: сына Николая и дочери Марии. Как мать, она имела один недостаток: она слишком любила детей своих, оттого Николай и был несколько своенравен и вспыльчив, а Мария... та еще, к счастью, не успела или не умела испортиться. За излишнюю любовь матери платила она такую же любовью, тем все и кончилось. Страсть к нарядам, музыке и танцам получила она, верно, не от этого, а в виде родовой наследственной болезни, которая, впрочем, вовсе ее не портила. Николаю было 19 лет, а ей 16. Состояние их было довольно значительное и, следовательно, круг знакомства обширный.

Появление Саши в доме их имело большое влияние на все семейство. Все его полюбили. В одно посещение он успел сделаться домашним человеком, несмотря на свою застенчивость. Мать Леонова любила Сашу, как сына, Николай привязался к нему, как к брату, а Мария еще больше. Странное чувство разлилось в груди Саши при виде первых женских существ, принимавших его с нежностью и любовью. О ласках матери давно уж он забыл, и только по временам смутное, неопределенное воспоминание как будто виденного сна приводило ему на память младенческие годы. Ласки матери Леонова невольно извлекали у него слезы, а отчего – он и сам не знал! Он только чувствовал, что эти ласки составляют какое-то высокое, священное наслаждение, которое напоминает ему что-то былое, сладостное, не постижимое. Что же касается Марии, то это была еще первая девушка, с которою Саша говорил, на которую смотрел так близко, которая была с ним так ласкова и любезна. До тех пор видел он часто у Сельмина женщин и девушек, но едва обращал на них внимание. Все они казались ему существами, без видимой цели скользящими по жизненной дороге. Только из книг (которых выбор был очень строго определяем самим пустынником) узнал он мало-помалу влияние женского пола на судьбу людей. Правда, он задумывался над этими событиями, не понимая, какую материальную или нравственную власть может иметь существо столь слабое, как женщина. О физиологическом различии полов он не имел достаточных понятий. Строгий род воспитания оставил его в совершенном недоумении на этот счет. Собственные же размышления ни к чему не вели. Теперь только, при виде Марии, почувствовал он вдруг какой-то радостный трепет; что-то давило грудь его, однако же эта боль была приятна; какой-то легкий туман часто покрывал глаза его, однако же черты Марии казались ему и сквозь этот сумрак еще прелестнее. Женщина! Девушка! Эти слова были теперь беспрестанною целью его размышлений, которые, распаляя его воображение и волнуя сердце, не имели, впрочем, ничего определенного. Ему казалось только, что свет и люди должны быть вовсе не так дурны, как их везде описывают, и доказательство своего мнения находил он в том, что Мария живет между ними.

И долг повиновения, и чувства сердца обязывали его рассказывать все пустыннику. С каким жаром описал он ему новое свое знакомство. Какими красками изобразил мать и дочь! Угрюмо и печально слушал отшельник полудетский рассказ его, изредка взглядывал в это время на Сашу, казалось, любовался прекрасным выражением лица его и откровенностью; казалось, готов был улыбнуться при восторженности его описаний, но оканчивалось тем, что он уныло покачивал головою и вздыхал.

— Я знал некогда отца Леонова, — сказал пустынник. — Он был добрый, честный и почтенный человек. Дай бог, чтоб и сын его был таким же. Посещай, друг мой, этот дом. Тебе надобно привыкать к свету. Составляй и другие знакомства. Не скрывай только от меня ничего. Я этого требую для твоей же пользы, для твоего спасения.

Саша с нежностью поцеловал руку пустынника и обещал исполнить его волю.

С тех пор Саша почти ежедневно был у Леоновых; новая жизнь, новые идеи, новые ощущения начали быстро развиваться в его душе. Доселе рос он сиротой, а теперь вдруг находил ласки матери, и нежность сестры и любовь брата. Собственные его чувства, подавленные дотоле однообразным воспитанием, холодною, строгою заботливостию, вдруг воспламенились в груди. Незнакомые, сладостные ощущения наполнили его сердце. Он был вполне счастлив. С тех пор рама жизни его увеличилась, все в природе казалось ему светлее, веселее. Поутру — науки, товарищи, ввечеру — Леоновы, Мария... и в заключение всего — дядя-пустынник, который, сохраняя всегда и для всех свою строгость, холодность и печальную задумчивость, казалось, для одного Саши становился день ото дня ласковее и снисходительнее. Наконец, добрый его слуга, этот дядька, всегда верный, неизменный и послушный, довершал картину его прекрасной жизни. Ни нужды в настоящем, ни заботы о будущем — ничто не возмущало юношу. Везде любовь и удовольствие. Мало-помалу он приобрел и другие знакомства. Все его любили; кто за хорошенькое личико, кто за тихий и веселый нрав, кто за светлый ум и познания. В особенности отличался он в обществе дам и девиц. Там, где всякий на его месте был бы робок, молчалив, застенчив, он, напротив того, был весел, говорлив, смел и любезен. Тут вполне развивалась всегдашняя его страсть к музыке и танцам. И Леонов и товарищи удивлялись редким его качествам и общительности. По несколько часов умел он проводить в обществе женщин, говоря с ними о нарядах, танцах, милых безделицах, которые им так приятны и которые молодые люди так неудачно заменяют пошлыми комплиментами, унылыми взглядами и страстными вздохами. Все завидовали Саше в редком его искусстве, которое он так скоро приобрел и которое быстро сделало его маленьким кумиром дамских обществ.

В невинную насмешку над его мнимо-монастырским воспитанием звали его здесь *le petit abbé* (маленьким аббатом), впрочем, всеобщее любопытство ничего более и не знало. Все почитали его сиротою, лишившимся в малолетстве родителей и призренным с тех пор дядею. Да и сам Саша то же самое думал. Отеческие попечения о нем пустынника, всеобщее молчание окружающих его о младенчестве и оставлении Саши у ворот дома Сельмина — все заставляло его думать, что пустынник действительно его дядя. Притом же Саша был от природы такого счастливого характера, что редко задумывался над первоначальною таинственностью своей судьбы. Он был доволен и блажен в настоящем. Какое ему было дело до мрака в прошедшем и будущем. Ко всем удовольствиям нового образа жизни Саши присоединилось еще частое посещение театра. Но и здесь странность вкуса его была поводом к вечным насмешкам товарищей над ним. Саше нравились балеты.

Рассказывая ежедневно пустыннику свои впечатления и чувствования, Саша передал ему и это новое наслаждение молодой своей жизни. Старик слушал яркие рассказы юноши и своими замечаниями очищал идеи его о столь новом и увлекательном предмете; описал ему состояние древнего греческого театра, цель его, народное участие в этой забаве, составление авторов и влияние литературы на народную славу и благоденствие. Задумчиво слу-

шал его Саша. Все это и прежде он читал, но только теперь начинал проверять свои познания с впечатлениями, полученными на опыте. Они вовсе не согласовались между собою. По какой-то непостижимой странности он никак не видел в *театре* эстетической и нравственной стороны, соединенной с литературного славою нации: он находил в этих зрелищах одну прихоть праздности, одно удовольствие всех сословий, одно препровождение времени, одно действие для рассеяния, забавы, а вовсе не для поучительной цели. И этого ощущения не скрыл Саша от пустынника. Тот покачал головою.

– Ты не прав, мой друг, – сказал он ему кротким голосом. – Твои превратные понятия происходят от того, что ты более посещаешь оперы и балеты. И те и другие созданы для одних глаз и минутных чувственных наслаждений. Музыка может еще возвышать нашу душу, но для этой высокой цели пишут немногие. Все прочие хотят льстить чувствам и раздражать нервы, страсти, не заботясь о нравственной цели. Балет же, это – самая искаженная часть театра. Я знаю, друг мой, что слова мои покажутся тебе слишком строгими. Ты, верно, подумаешь, что лета мои и род жизни внушают мне отвращение к этой отрасли народных забав... Нет, милый мой! Это внутреннее убеждение. Я не принуждаю и не могу тебя принудить разделять мои идеи... Но я все-таки обязан сказать тебе мое мнение.

– Если вы прикажете, дяденька, – сказал Саша, потупя взоры, – то я буду ходить в одни драматические спектакли.

– Нет, друг мой. Я этой ошибки не сделаю. Мне бы приятно было, если б ты сам собою полюбил творения Шекспира, Шиллера, Корнеля, Расина и наших драматургов, но приказывать тебе – значило бы сеять в душе твоей тайное к ним отвращение... Может быть, ты сам когда-нибудь почувствуешь справедливость моих слов. Собственное убеждение всего нужнее.

Он обнял Сашу и отпустил его. Задумавшись пошел тот в свою комнату и пересказал свой разговор дядьке своему Егору. Тот, ничего не поняв из доказательств *pro* и *contra* балетов, объявил, однако же, что, во всяком случае, Григорий Григорьевич прав.

На другой день Саша имел случай проверить слова дяди с собственными своими чувствованиями. Он пошел смотреть «*Дмитрия Донского*». Но сколько в душе его ни было детской готовности к повиновению, однако же он не чувствовал в сердце ни малейшего перевеса в пользу *трагедии*. Не раз, правда, патриотические выходки главного лица воспламеняли его, но любовь *Ксении* казалась ему натянутою, неестественное появление ее в стане противоречило тогдашним нравам, а упорство, с которым Дмитрий хочет жертвовать для любви благом родины, было даже противно не только исторической истине, но и приличию. Саша в тот же вечер передал пустыннику свои впечатления, и на этот раз добрый старик одобрил суждения юноши, прибавя, что уж и в этом большая польза от драматических представлений, если зритель может делать подобные замечания, которые очищают вкус и облагораживают сердце. Ошибки великих авторов всегда поучительны, как скоро сочинения их имеют высокую цель. В балетах же и операх так же легко прощают ошибки, как без внимания пропускают иногда гениальные красоты.

Таким образом проводил Саша свое время: от ученья – к невинным забавам, от отеческих наставлений – к приятностям дружбы. Ему казалось, что он был счастливейшим созданием в свете. Все его любили, все ласкали. Как недоверчиво качал он всегда головою, если где-нибудь находил в книгах мрачные картины света и людей. Ему казалось, что это клевета или болезнь авторского сердца.

Наступило время святок. Тогдашние полупатриархальные нравы московских жителей допускали еще домашние маскарады, на которые съезжались знакомые и незнакомые. На одну из таких вечеринок были приглашены и Леоновы; Николай предложил Саше отправиться вместе с ними. Без малейшего размышления Саша согласился. Оставалось только каждому придумать себе костюм. Прежде всего занялись Сашею и после долговременного

прения положили нарядить его в женское платье. Привесили ему фальшивые букли, привязали шиньон, затянули в корсет, дали одно из лучших платьев Марии, и когда он по окончании своего туалета явился на смотр к Леоновой и к Марии, то обе поражены были изумлением.

Перед ними стояла прелестнейшая девушка со всеми очарованиями молодости и красоты. Если б они не были заранее уверены, что это Саша, то никак бы не узнали его. Стройность, нежность, белизна рук и плеч, и на лице ни малейшего следа юношеского возраста. Они заранее приготовились смеяться; но при виде Саши забыли все. Даже Николай, занимавшийся костюмированием его и приведший его к матери и сестре, почувствовал какое-то невольное удивление, когда взглянул в переодетого своего друга. Несколько минут все находились в каком-то странном положении, не зная, что сказать друг другу. Саша принужден был говорить за всех, и уже его веселость возвратила мало-помалу всем присутствие духа. Начали шутить, хвалить, рассматривать, учить Сашу женским приемам и походке, предполагать забавные встречи от этого переодевания и наконец решили тем, чтоб никому не объявлять на вечеринке настоящего имени Саши, а выдавать его за недавно приехавшую родственницу Леоновых.

По окончании всеобщего туалета они поехали. Саша, чтоб ознакомиться с новою своею ролью, должен был дорогою вести разговор с Мариею, как девушку и родственницу называя ее: *chère Marie, cousine* и *ты*. Все смеялись, поправляли его ошибки, учили составлять милые полуфразы или бросать взгляды и в таких занятиях подъехали. Надев маски, вошли они в залу и рекомендовались хозяевам. Старуха Леонова шепнула хозяйке свое имя, и та спешила принять ее со всевозможною ласкою. Николай отправился к толпе мужчин, а Саша уселся подле Марии, нашептывая ей забавные замечания насчет своего положения. Оно действительно сделалось вскоре весьма любопытным. Начались танцы; жар принудил гостей мало-помалу снимать маски; все между собою короче познакомились, и бальная веселость одушевила молодежь. Вскоре начались со всех сторон спросы и расспросы о Саше. Старуха Леонова и Мария должны были сто раз рассказывать историю мнимого своего родства с ним – и дюжины любезников увивались около его кресел. Слава о красоте Саши до того распространилась, что даже из игорных комнат вышли старики, чтоб посмотреть на *приезжую красавицу*.

Вскоре начались и танцы. Саша выдерживал свою роль со всевозможною осторожностью. Хотя многие опытные танцовки и поглядывали на него иногда с некоторым удивлением, но все кавалеры были в восхищении и бросали на него самые страстные взгляды. Чтобы избавиться от разговора с посторонними, Саша танцевал чаще всего с Николаем, и все завидовали счастливцу. Более всех пленился Сашею некто Сельмин. Это был человек лет 35, полковник и богач. Он не сводил глаз с Саши, однако же долго не хотел ни у кого спросить о нем. Наконец во время мазурки сам Саша, давно заметивший эту наблюдательную фигуру, подбежал к Сельмину и ангажировал его. Тот машинально последовал приглашению и пламенными взорами пожирал *красавицу*. Окончив круг, он посадил Сашу и остался за его стулом.

– Я очень счастлив, что вы удостоили меня своим вниманием, – сказал он Саше. – Но если б только смел спросить, какому случаю обязан я этим счастьем...

– Вы, я думаю, знаете, полковник, что женские причины всегда очень маловажны, – отвечал Саша. – Я давно заметила, что вы уединенно стоите у колонны. По равнодушию ли это было с вашей стороны к танцам или к танцующим, но мне стало обидно за всех, и я хотела заставить вас поневоле разделить всеобщие забавы, которые вы, кажется, презираете.

– Я не думал, чтобы вы могли быть так несправедливы... Позвольте, в защиту мою, сделать вам один вопрос. Любите ли вы живопись?

– Кто же может не любить ее!

– Что сказали бы вы о том человеке, которого бы нашли перед картиною Рафаеля, с немим восторгом стоящего по целым часам.

– Я бы полюбопытствовала сперва узнать, высокое ли чувство живописи заставило его остановиться или сходство картины с кем-нибудь из любимых сердцу особ...

– И то и другое! – сказал Сельмин шепотом, наклонясь к Саше на ухо, и быстро ушел от него, как бы боясь сказанного.

Саша готов был расхотаться, но Николай напомнил ему о приличии играемой роли и поднял его опять к танцам. В антрактах садился Саша к Марии или ходил с нею по залам, рассказывая ей о своих победах над сердцами танцоров. В один из таких антрактов принуждена была Мария вести Сашу в уборную, чтоб поправить наряд его, и здесь, пользуясь коротким обращением, всегда существующим между молодыми девицами, он осмелился поцеловать ее. Мария не могла ни обидеться, ни рассердиться. Поцелуй был дан при других девицах и был самою обыкновенною благодарностью за дружеские услуги между ними. Одна Мария чувствовала всю нежность поцелуя, но должна была молчать в эту минуту, а после, когда они воротились в танцевальную залу, вскоре и забыла о нем.

Здесь явился опять Сельмин. (Пора сказать читателю, что он был сын Петра Александровича, которого мы в начале романа видели гвардии офицером. Старик вскоре после помещения Саши в университет уехал жить в свою деревню. Скучно было бедняку теперь без пустынного; но нечаянный приезд сына вознаграждал его за все. Его Саша явился полковником, которому дали полк, и радость старика была неописанная. Проживя с отцом месяц, полковник воротился в Москву – и вот он на бале.) На этот раз привел он с собою еще наблюдателя. То был генерал суровой наружности, которого Сельмин вытащил из-за бостона своими рассказами о *красавице*. Молча указал ему Сельмин свою красавицу и ожидал от него восклицаний восторга и удивления. Он, однако же, ошибся. Генерал несколько минут смотрел со вниманием на Сашу, но чем более в него вглядывался, тем угрюмее и недовольнее становился. Наконец, не сказав ни слова, он быстро повернулся и ушел обратно в ту комнату, где играли в карты. Сельмин последовал за ним и требовал объяснения у своего приятеля в странном поступке. Но тот, вместо всякого ответа, настоятельно просил его разведать о всех подробностях семейства и жительства *красавицы*.

– Да я уж все знаю, – отвечал Сельмин и пересказал ему все, что Леонова объявила хозяйке о мнимом своем родстве с Сашею.

Казалось, этот рассказ успокоил генерала, он продолжал свой бостон, а Сельмин снова пошел на свой наблюдательный пост и там дождался счастья быть выбранным Сашею во время мазурки. На этот раз он не мог ничего сказать своей красавице, потому что фигуры танца передали ее во власть другого танцора и он должен был воротиться на свое место.

Вскоре пошли ужинать. Сельмин кое-как завоевал себе место против Саши и беспрестанно бросал на него самые пламенные взоры, служа предметом его насмешек, тихо нашептываемых Марии, которая, давно уже забыв про поцелуй, привыкала к свободному обращению Саши. Тесное соседство за ужином было поводом к маленьким вольностям с его стороны, но как между девицами они ничего не значили, а соседки окружали и Сашу, и Марию, то последняя поневоле должна была переносить невинные шалости своей мнимой родственницы. Но вот ужин кончился и все стали разъезжаться.

Во время переезда Леоновых с бала до дома Саша продолжал пользоваться правами своего переодевания и вольностями, к которым привык в короткое время, а Мария не смела при матери и брате остановить его, боясь неприятных последствий. Всю дорогу хохотали над победами Саши и над его ловкостью во время бала. Более всех говорили о Сельмине, который успел втереться в знакомство Леоновой и, вероятно, должен был явиться с визитом. Последнее обстоятельство поставляло всех в затруднение, но после некоторого совещания решили сказать Сельмину, что Саша-девица должна была по внезапной болезни отца уехать

в деревню и что брат ее Саша остался гостить в Москве. Таким образом надеялись поправить свою шутку.

Саша остался ночевать у Леоновых и уже на другой день отправился к пустыннику, чтобы отдать ему подробный отчет в прошедшем дне.

Всякий молодой человек скрыл бы, разумеется, ту часть происшествий, в которой одно внутреннее чувство было уликою; но Саша видел в пустыннике не только своего благодетеля и воспитателя, но и второго отца. Всякий рассказ казался ему исповедью, всякое признание – обязанностью. Он рассказал ему *все*.

Внимательно слушал его пустынник и изредка покачивал седою головою.

– И тебе понравилось это переодевание? – спросил он Сашу с некоторою задумчивостию.

– Понравилось.

– И ты чувствовал желание нравиться и прельщать?

– Для шутки.

– Что же чувствовал в это самое время к Марии?

– Она мне нравилась больше всех. Теперь я чувствую, что виноват перед нею, осмелясь оскорбить ее скромность, но вчера я находил в этом большое удовольствие.

– Всякий проступок, сын мой, увлекает своею приятною стороною. Но зато на другой день всегда следует раскаяние. Хорошо еще, если нужно раскаиваться в одних помышлениях, а не в делах. Первое можно поправить, второе всегда невозможно.

– С этой минуты я буду щадить скромность Марии.

– Лучше бы ты сделал, если б совсем перестал с нею видеться. Склонность твоя к ней не имеет теперь никакой цели.

С недоумением посмотрел Саша на пустынника. Еще в первый раз приходила ему в голову мысль, что склонность его к Марии должна иметь какую-нибудь цель. Вместе с тем чувствовал он, что, несмотря на все свое повиновение к дяде, добровольная разлука с Марией была бы выше сил его.

– Но почему же я не могу иметь самой естественной и благородной цели?.. я, конечно, еще молод...

– Не думаешь ли ты жениться на ней? – спросил пустынник, печально качая головою.

– Разве это невозможно?

Пустынник склонил голову и с минуту молчал.

– Невозможно, – сказал он потом. – Ты еще слишком молод, чтобы знать все отношения и условия света, но можешь понять, однако, что законы приличия и общежития требуют, чтобы вступающие в брак были равного состояния и звания.

– Что ж, дяденька, – с живостью спросил Саша, – разве я в этих обоих отношениях так далек от Леоновых?

– Да, сын мой! В глазах света ты далеко отстоишь от Марии. У тебя нет никакого состояния.

– Но я его приобрету службой и познаниями...

– Приобретешь, и то еще, *может быть*, лет через двадцать; до тех пор, верно, ты не захочешь ждать. Во-вторых, ты сирота... Рождение твое перед богом и людьми чисто, законно, однако же оно составляет тайну, которую я один знаю и не властен открыть. Это обстоятельство составляет также в глазах света важный недостаток...

– Но если семейство Леоновых будет так благородно, что возвысится над этими расчетами...

– Этого ты еще наверное не знаешь, сын мой. Следственно, если склонность твоя укоренится или, что еще хуже, если ты заставишь бедную девушку полюбить тебя, то это послужит только к несчастью одного и вечному раскаянию другого. Избавь же, сын мой, и себя и

ее от угрожающей вам опасности. Беги, пока еще есть время. Не вызывай судьбы на главу свою. Поверь мне, мой друг, будущее в деснице божией... Я могу только остеречь тебя, дитя мое! Тебе предстоит много несчастий.

– Если мне нельзя любить Марию, то какое же несчастье может быть выше этого?

– Дай бог, чтоб ты как можно позже почувствовал, в чем состоит твое истинное несчастье.

Последние слова были сказаны так мрачно и печально, что грудь Саши стеснилась. Неведомое, непостижимое чувство разлило холод по жилам его. Он не в силах был отвечать дяде. Грустно склонил он голову и молчал. Старик сжалился над его страданием и начал успокаивать его.

Мало-помалу утешительные слова ободряли унывающего. Глаза его обратились с надеждою к старцу; он спросил его трепещущим голосом:

– Что же мне делать, любезный дяденька? Скажите, наставьте меня!..

– Молиться и не унывать духом; не предаваться своим страстям и верить в милосердие божие; не роптать на судьбу и со смирением сносить несчастье.

– Все это я привык исполнять, дяденька. И словом и примером своим вы научили меня быть христианином, я постараюсь сделаться достойным ваших уроков. Позвольте мне только видиться с Марией.

– Кто же тебе запрещает, друг мой? Продолжай по-прежнему ходить к Леоновым, видайся со всеми, но будь осторожен в словах и в обращении.

Безмолвно поцеловал Саша его руку и удалился.

Глава V

Выдумка Леоновых насчет появления Саши на бале вскоре была для них нужна. Сельмин через несколько дней явился к ним в дом, найдя приличный к тому предлог, но все знали, что целью посещения его была *бальная красавица*. Сильно поразило его известие, что *приезжей девицы* нет уж в Москве. Он задумался и долго не решался возобновить разговора; наконец спросил, есть ли надежда, что милая родственница Леоновых опять приедет в Москву, и получил отрадный ответ, что она, вероятно, возвратится к первому балу.

Во время визита Сельмина пришли из университета Николай и Саша. Оба они удивились, увидев гостя, а Саша даже испугался. Однако же Леонова тотчас ввела его в новую роль *брата* красавицы и представила Сельмину, который, удивясь несколько изумительному его сходству с мнимой сестрицею не обратил на него, впрочем, особенного внимания. Это показалось Саше обидным, и он старался поддерживать всеобщий разговор, чтоб блеснуть своим умом и любезностью. Но все эти детские усилия вовсе не понравились Сельмину. Он вовсе не хотел вступать в разговор с мальчиком и, видя какие-то лукавые взгляды, которые тот на него бросал, почувствовал к нему решительное отвращение. Вскоре Николай и Саша ушли опять в университет, и Леонова рассыпалась перед Сельминым в похвалах о милом *братце*, на которые тот отвечал очень сухо, и вскоре раскланялся, получив приглашение посещать их дом.

Сельмин возвратился домой в самом дурном расположении духа. Он надеялся увидеть свою красавицу, которая со дня бала мучила его воображение, добивался найти средство к знакомству с Леоновыми, нашел его, и все понапрасну. Зато визит его успокоил другое лицо. Когда он приехал домой, тот самый генерал, которого он на бале привел в залу, чтоб восхищаться прелестями незнакомки, ожидал с нетерпением его возвращения и осыпал его вопросами. Сельмин рассказал всю свою неудачу.

– Брат! Сестра! – сказал с задумчивостью генерал, выслушав весь его рассказ. – Слава богу! Это вовсе непохоже! Странная игра природы.

– О чем вы говорите, Иван Григорьевич? – спросил Сельмин.

– Так, братец! Я очень благодарен тебе. Ты меня успокоил...

– Чем и в чем?..

– Разные вздорные идеи... Эта девочка на бале была ужасно похожа на другое существо...

– А знаете ли, что я нахожу... Эта незнакомка имеет некоторые черты сходства с вами...

Генерал вспыхнул.

– С чего ты это взял? Разве с женой моей...

– Право, нет! – отвечал Сельмин и даже покраснел. – Чем больше я об этом думаю, тем более меня поражает сходство. Вы не могли его заметить, потому едва взглянули на нее на бале, но я с нее глаз не спускал... И, признаюсь, если бы я не знал вас, то, право бы, подумал...

– У тебя все шуточки на уме, – отвечал генерал с некоторою рассеянностью, – а мне не до того.

– Ах, вообразите себе мою досаду, – сказал Сельмин. – Леонова думала, верно, меня утешить и навязала на шею мальчика, который с первого взгляда хотя и похож немного на сестру свою, но самое ничтожное и наглое создание.

Генерал расхохотался, видя дурное расположение своего друга. Чтоб утешить его, он обещал отыскать его красавицу и привести в его объятия.

– Если же судьба приведет тебя прежде с нею увидаться, – прибавил старик, – то, пожалуй, познакомь и меня. На этот раз я обещаю, что рассмотрю ее со всевозможным вниманием; даже готов расцеловать братца ее, чтоб доставить тебе в нем домашнего покровителя.

Сельмин угрюмо молчал. Он и не вздумал поблагодарить генерала за его обещание. Напротив, шутки его возбудили в душе Сельмина странные ощущения. Более 5 лет был он знаком с генералом Зембиным на самой дружеской ноге. Редко проходил день, чтоб он не был у него в доме, он почитался принадлежащим к его семейству. Первоначальное знакомство их было служебное, основанное на взаимном уважении. Правда, что все сослуживцы Зембина старались втираться к нему в домашнее знакомство по двум причинам, самым обыкновенным в свете: у него была хорошенькая жена и отличный повар. Однако же, как впоследствии каждый видел, что г-жа Зембина не только не отвечает на вопросительные взгляды своих поклонников, но даже и не обращает на них ни малейшего внимания, то все посетители и остались при втором удовольствии, то есть при поваре, и это утешало многих. Сельмин вспомнил тоже в эту минуту своего разговора с Зембиным, что первоначальная тайная мысль его знакомства с генералом была основана на первой цели, то есть на обольстительных для всей молодежи словах: *у него хорошенькая жена*; но эта надежда продолжалась не долее двух-трех свиданий. Вера Николаевна Зембина при всей светскости и любезности была, по-видимому, не создана для сильных ощущений. Она была ласкова, мила, прелестна, но всякую лесть или тонкий намек на *симпатию сердец* принимала с такою холодною рассеянностью и беззаботною важностью, что лишала каждого обожателя охоты повторять подобные опыты. Сельмин был догадливее всех своих состязателей; он решился приобрести *дружбу* Зембиной, и хотя встретил и тут много затруднений, но наконец мало-помалу достиг этой цели. В это время, т. е. когда происходил описанный разговор Сельмина с Зембиным, все они трое были уже в довольно почтенных летах и, следственно, почти безопасны от действия *сильных ощущений*. Зембину было за 50, Сельмину около 40, а г-же Зембиной около 35 лет. Проведя всю молодость как бесстрастный волокита, Сельмин вдруг неожиданно влюбился на бале в неизвестную девушку и, рассказывая о ней с восторженностью поэта, говорил Зембину, что предмет внезапной этой страсти чрезвычайно похож на него. Тот в шутку отвечал, разве на жену мою? – и Сельмин тогда покраснел. Неизвестно, заметил ли муж или нет, но при мыслях, волновавших в эту минуту Сельмина, ему казалось, что дружба его с Зембиным была не так чиста и бескорыстна, как он предполагал и что слова *хорошенькая жена* были все-таки главною целью этой дружбы.

– Ну, что ж ты задумался, страстный любовник? – сказал наконец Зембин, пройдя несколько раз по комнате и глядя внимательно на физиономию Сельмина.

Сельмин не мог, разумеется, передать математическим образом всей нити своих размышлений. Надобно было прибегнуть к выдумкам. После минутного молчания он отвечал:

– Для меня странно, каким образом могут случаться в природе такие удивительные вещи. Люди, которые жили весь свой век в разных концах света, вдруг встречаются где-нибудь, и находится, что один с другим совершенно во всем схожи. Ведь могла бы эта девушка быть годами двадцатью или более старше и вдруг, узнав о своем сходстве с вами, переодеться мужчиною и в каком-нибудь обществе сойтись с Верою Николаевной... Вот было бы редкое явление!.. А что, Иван Григорьевич, ведь можно бы было устроить подобное свиданье. Верно, сама Вера Николаевна полюбопытствовала бы увидеть двойника своего супруга.

– Как будто ты не знаешь, что она никогда не выезжает! Много было у меня с нею ссор из-за этого. Но ведь женщины всегда поставят на свое, и я лет десять как рукою махнул...

– Да! это единственный недостаток Веры Николаевны, если еще это можно назвать недостатком...

– Именно, не недостаток, а гораздо хуже... Ну, да что говорить – вздор.

– Виноват! Я знаю, что вы не любите расспросов об этом...

– Ты, Александр, был бы один человек в свете, которому я бы мог и желал рассказать все, но так как это ни к чему не ведет, то я дал себе обещание молчать целую жизнь.

Оба замолчали. Потом Зембин спросил о чем-то постороннем, потом простился и уехал.

Много предметов к размышлению предстояло Сельмину. Домашняя тайна Зембина давно подстрекала его любопытство. Он давно уже знал это семейство, и ему всегда казалось, что совершенное согласие царствовало между супругами. Одно только обстоятельство было для него непостижимым. Жена Зембина, несмотря на все приличия и условия общества, была всегда печальна и решительно никуда не выезжала, кроме церкви. Сначала много толковали, говорили, но как люди ко всему привыкают, то вскоре забыли об этом, тем более что Зембина продолжала всякий день принимать к себе и была очень любезна у себя дома. Когда Сельмин мало-помалу достиг степени друга у мужа и жены, то неоднократно начинал их расспрашивать о причине этой странности, но оба просили его не трогать этой струны семейного их быта, и он должен был повиноваться. Посторонние справки еще менее могли удовлетворить любопытство. Говорили, что Зембин женился где-то в губернии, в которой стоял его полк. Уж после Итальянской кампании Суворова, в которой Зембин произведен был в полковники, дали ему другой полк, стоявший в Москве, а после Аустерлицкой и Тильзитской кампании был он произведен в генералы и получил бригаду, и только с этого времени явилась в Москве жена его, которая дотоле жила где-то в деревне или в уездном городе. Тут Сельмин, бывший уже давно на дружеской ноге с Зембиным, был введен им в домашний его круг и успел приобрести дружбу Веры Николаевны. По приезде ее в Москву все заметили удивительную странность решительного нежелания ее выезжать, хотя она принимала ежедневно всех знакомых своего мужа, – тайная причина этой странности осталась навсегда и для всех неразгаданною. Хотя Сельмин и давно уже оставил все покушения, чтоб вывести ее у мужа или у жены, но самолюбию его было, однако же, прискорбно, что, находясь в таких дружеских сношениях с этим семейством, он все еще не знает о нем больше других. Если б он был менее занят своею *бальной незнакомкою*, то, вероятно бы, заметил замешательство Зембина в то время, как он ему рассказывал о *брате* бальной красавицы и об удивительном сходстве ее с ним.

Это сходство, занимая теперь его воображение, невольно увлекало его и к Зембиной. Он пустился к ней. Когда он приехал, то мужа ее не было дома. Зембина казалась очень печальною, однако же зоркий взгляд ее тотчас же заметил, что Сельмин в необыкновенном расположении духа. Хотя Зембина и была непроницаема в собственной своей тайне, но она была женщина; ей тотчас же захотелось узнать, что так волнует душу Сельмина. Тот не заставил себя долго расспрашивать. Он сам придумал предисловие, которое бы могло навести разговор на желаемую точку. А потому, как скоро Зембина начала узнавать от него о причине задумчивости и необычайного волнения его, он ей все рассказал.

На этот раз Сельмин с проницательностью и любопытством следил за малейшим движением Зембиной во время рассказа. Первая часть, то есть нечаянно вспыхнувшая страсть его к *незнакомке*, хлопоты его, чтоб познакомиться с Леоновой, отчаяние его, когда он узнал, что незнакомка уехала, досада его на несносного мальчишку, брата ее, – все чрезвычайно забавляло Зембину, но когда дело коснулось необыкновенного сходства девушки с Зембиным, когда Сельмин начал рассказывать весь свой сегодняшний разговор с мужем ее и упомянул, что генерал давал ему поручение хорошенько разведать о незнакомке, то Зембина пришла в такое сильное волнение, что Сельмин не знал, как успокоить ее. Только тут и Сельмин был приведен в величайшее изумление вопросами Зембиной. Вместо того чтоб узнать о *незнакомке*, она с величайшею подробностью стала расспрашивать о словах и поступках своего мужа при этом случае. Сельмин рассказал все, не понимая, однако же, причины

странных вопросов. Он ожидал вовсе другого направления разговора и не знал теперь, как добраться до точки, с которой можно бы было и ему начать свои дружеские разведывания. Он повторил теперь еще с большею настойчивостию предложение свое, сделанное недавно мужу ее, именно – чтоб *где-нибудь* свести Зембина и *незнакомку*.

Долго Зембина не отвечала. Казалось, какие-то мучительные чувства боролись в груди ее. Печально склонила она на руку пылающую свою голову и старалась собрать расстроенные свои мысли.

– Как бы я рада была, Александр Петрович, – сказала она наконец, – если б могла где-нибудь увидеть вашу незнакомку или брата ее. Но это невозможно, да и не послужит ни к чему.

– Извините, Вера Николаевна, – отвечал Сельмин, – я не вижу тут никакой невозможности. Я бы даже взялся устроить это, если вам угодно... А к чему это послужит – вопрос вовсе лишний. Мы любим смотреть на всякую редкость, на всякую необыкновенную вещь и никогда не делаем себе вопроса: к чему послужит наше любопытство? Оно удовлетворено, и мы довольны.

– Довольны! – с горькою усмешкою сказала Зембина. – Любезный Александр Петрович! Перестанемте говорить об этом. Мы не поймем друг друга.

– Вы меня приводите в отчаяние. Я уважаю ваши семейные тайны и никогда не старался в них проникнуть. Но моя бальная незнакомка занимает меня одного. Она ничего не может иметь общего с вами и с Иваном Григорьевичем.

– Кто знает! – с печальною задумчивостию сказала Зембина, и эти слова поразили Сельмина.

Он замолчал и обратил на нее испытующие взоры. Но минуты проходили за минутами, а Зембина не прерывала молчания. Сельмин быстро перебрал в уме своем все догадки вероятностей и ничего не придумал.

– Я обязан уважать ваше молчание, а еще более ваши тайны, – сказал наконец Сельмин, – но вы мне все-таки решительно не сказали: хотите ли вы видеть мою незнакомку или нет?

– Вы забыли, что я никуда не выезжаю, – печально отвечала Зембина.

– Я никогда не расспрашивал вас о причинах этой странности и теперь не сделаю подобного вопроса... Он, вероятно, ни к чему не послужил бы... Но так как вы ездите в церковь, и очень часто, то легко может случиться, что вы на дороге встретитесь с моею незнакомкою... Хотите ли?..

Зембина обратила взоры свои на Сельмина. Они были наполнены слезами, однако же какая-то радость блистала на лице ее.

– О боже мой! – сказала она. – Что вы мне предлагаете!..

– Дело очень возможное... Скажите мне только...

– А этот брат девушки... о котором вы мне говорили... он здешний?..

– Да! – студент здешнего университета... Не хотите ли и на него взглянуть? И в нем есть также много сходства...

Печально покачала Зембина головою.

– А что скажет муж мой? Нет, Александр Петрович! Оставьте, пожалуйста, все это. То, что я желала бы видеть с пожертвованием моей жизни, того я, вероятно, не увижу никогда. Пустое же любопытство, которое только растравит сердечные раны... очень-очень печальная игрушка. Наконец, сделать что-нибудь неуютное тому, кто...

Она замолчала, но на этот раз слезы прервали слова ее. Видно было, что она долго боролась с своими чувствами, что приличие удерживало порывы их, но что наконец сердце ее изнемогло под этими тяжкими усилиями. Она закрыла лицо руками и, склонясь на подушку

дивана, громко зарыдала. Сельмин ничего не постигал, однако же слезы Зембиной тронули его до глубины души. Он готов был плакать с нею, хоть и сам не знал, о чем.

Вскоре Зембина оправилась и, с принужденною улыбкою взглянув на Сельмина, сказала ему:

– Вы, верно, подумаете, что я с ума сошла. Не правда ли? Плачу, сама не знаю, о чем. Но ведь я на то и женщина. Мы плачем ото всего и обо всем.

Несмотря на эту мнимо веселую выходку, Сельмин не хотел дать разговору другого оборота. Собственные его чувства вовсе не были расположены к шуткам.

– Нет, Вера Николаевна, – отвечал он после минутного молчания, – кто вас знает, тот никогда не подумает, чтоб причиною ваших слез была ничтожная вещь или порыв своенравия. Но повторяю вам, что я не почитаю себя вправе проникать в семейные тайны. Хотя я по искренним моим чувствам к вам и вашему дому заслуживал бы, может быть, чтоб от меня не таились, потому что истинная дружба и преданность облегчает всякую печаль, но как доверенность – дело сердца, а не рассудка, то я молчу.

– Вы несправедливы, Александр Петрович. Вы – наш лучший и даже единственный друг. С тех пор как вы с нами знакомы, мы вполне оценили ваш благородный характер и ваши искренние к нам чувства; с тех пор вы не можете пожаловаться, чтоб мы от вас скрывали какое-нибудь домашнее происшествие. В будущем тоже, вероятно, этого не случится. Но прошедшее... оно уже не принадлежит нам. Оно покрыто грустным покрывалом несчастий, которых даже и воспоминание одно обливает сердце кровью. Вы, как добрый друг наш, верно, не захотите из любопытства или соучастия к судьбе нашей заставить нас провести несколько мучительных минут для того только, чтобы рассказать вам о прошедшем. Как бы я счастлива была, если б сама могла забыть о нем!.. Впрочем, даю вам честное слово, что если в будущем случится что-нибудь такое, что будет иметь отношение к этому печальному прошедшему, вы все узнаете. Я даже к вам первому прибегну тогда с моими просьбами...

– О чем?

– *Тогда* вы узнаете.

Она замолчала. Сельмин не смел более расспрашивать. Он откланялся и уехал.

Глава VI

Возвратимся, однако же, к нашему герою. Он проводил самую счастливую жизнь. Все его любили, ласкали, все находили в нем самые приятные качества. Пустынник, при всей своей строгости, не стеснял его, требуя только, чтобы Саша отдавал ему отчет в каждом происшествии, в каждом ощущении. И это не трудно было для Саши. Он так привык к этой обязанности, что без исполнения ее он бы не знал: кому все рассказывать и верить. Конечно, у него был Егор, домашний друг его и дядька, но тот только выслушивал рассказы Саши, а сам редко пускался в разговоры, тогда как пустынник руководил всеми мыслями и поступками своего приемыша.

Саша по-прежнему продолжал ходить почти ежедневно к Леоновым, но наставления, данные ему дядею, произвели некоторую перемену в обращении его с Мариєю. До тех пор был он с нею весел, смел и говорлив. Теперь он чувствовал какое-то непостижимое смущение, когда сидел близ нее или прикасался к ней нечаянно.

Веселость и говорливость его оставались те же, но ни поступки его, ни даже мысли не имели первоначальной смелости. И, что всего страннее, это расположение распространилось даже и на обращение его с молодым Леоновым. Он с ним также старался избегать всякой вольности.

Разумеется, Николай смеялся над ним, называл его красною девушкою, однако, приучась уважать привычки и правила Саши, потому что они происходили из самого чистого источника, он сообразовался с его странностями.

Университетский курс Саши шел отлично. Он уже вступил в него с такими познаниями, что для окончания наук очень мало было нужно времени. Он посвятил себя философскому факультету и удивил всех своими успехами. Время текло быстро, и приближался уже срок выпуска. Все студенты наперерыв желали занять хорошие места.

Леонов был из числа немногих, которые решились потерять чин, приобретенный трудами нескольких лет, для того чтоб юнкером вступить в армию. Напрасно все домашние и знакомые отговаривали его от этого шага. Кровь военного отца уже кипела в груди его. Ему было тесно в Москве, а еще теснее воображал он себе канцелярскую службу. Воображение его рвалось на простор, на поле битвы, на биваки, на русские переходы. С жадностью пожирал он все тогдашние газеты и журналы. А тогда было что почитать! Звезда Наполеона блистала светло, ярко. Чудесное его поприще могло воспламенить тогда самые холодные головы. Наступал знаменитый 1812 год.

Русский патриотизм лежал как порох на полке ружья. Покуда оно не нужно было, всякий даже боялся пороха, но время надобности приближалось, и первая искра, брошенная в этот порох, произвела ужасный, небывалый взрыв. Никто, однако же, не предвидел, не подозревал, что время близко, и все наперерыв старались быть французами хоть в каком-нибудь отношении, то есть хоть в моде, во вкусах и в светской ловкости.

Но – боже мой! – куда залетел автор с своими рассуждениями! Уж эта русская натура! Только коснись до нее, – именно порох, – так и вспыхнет. Дело шло о Леонове, который из университета хотел непременно идти в военную службу. Это было еще в начале 1812 года, и в кругу московского общества никто не мог знать, чем этот год кончится. Воображение Леонова блуждало около Дуная, Балканов и изредка пробиравось к Царьграду. И мать и сестра принуждены были наконец замолчать и согласиться на порывы желания молодого человека. Дочь и жена воина, может быть, внутренно и не осуждали его. Одна любовь заставила их упрашивать его донельзя. Разумеется, что Леонов со всем красноречием дружбы и самоубеждения склонял Сашу последовать его примеру, но по роду ли воспитания или по

какому-то внутреннему, бессознательному чувству Саша всякий раз отказывался от внушений Леонова.

Пересказав же эти убеждения пустыннику, Саша решительно перестал думать о перемене поприща службы. Сначала это поселило некоторую холодность между друзьями, но дружба матери и любовь сестры скоро их опять сблизили, тем более что в главном существе спорного дела оба были согласны. И Саше нравился военный мундир выше всего на свете.

Впрочем, до выпуска обоих оставалось еще полгода, они проводили это время самым веселым образом.

Леонова, в свою очередь, должна была, по условиям общества, дать бал. Это случилось в день рождения Марии, и по какому-то странному капризу Леоновым опять вздумалось повторить шутку переодевания Саши. Мы уже видели, что Сельмин нашел случай познакомиться с Леоновой после первой своей встречи с переодетым Сашею. Учтивость требовала продолжать посещения. К условиям учтивости, разумеется, принадлежало и тайное желание узнать что-нибудь о милой незнакомке. К несчастью, ему всякий раз отвечали, что она живет в деревне, а вместо ее вечно, как снег на голову, являлся несносный *братец*, который находил какое-то особенное удовольствие приставать к Сельмину. Наконец в один из нечаянных приездов Сельмина Леонова ему как будто невзначай объявила, что на днях приедет к ним сестрица Саши и будет у них на бале. Это было искрою, брошенною в порох. Страсть Сельмина, начинавшая мало-помалу исчезать, вспыхнула снова. Он, разумеется, добился себе у Леоновой приглашения на бал и даже, после некоторых церемонных околичностей, выпросил у ней позволение привести с собой генерала Зембина. При этом Сельмин рассказал об удивительном сходстве Александры Ивановны (ему сказали, что так зовут сестру Саши) с генералом и о любопытстве, с которым он ждал случая сравнить копию с оригиналом. Леонова, разумеется, согласилась, прибавя, что ей приятно было бы, если б и г-жа Зембина приехала к ней.

– Впрочем, я знаю, что это вещь несбыточная, – сказала Леонова. – Вот уже более пяти лет как генерал живет в Москве, а жены его никто почти не видал. Сперва все думали, что это какой-нибудь маленький уродец; однако же любопытные люди добились того, что увидели ее где-то у обедни и расславили, что она красавица. После все узнали, что она принимает к себе всех и очень мила в обществе, но сама решительно никуда не выезжает. Много говорили об этой странности, но как свет ко всему привыкает, то забыли и об этом. Мне, как женщине, очень бы любопытно было взглянуть на милую затворницу, но для меня она, верно, не сделает исключения.

– Не знаю, как вам сказать, – отвечал с задумчивостию Сельмин, – но мне кажется, что ее тоже чрезвычайно интересует ваша милая родственница. И если б можно было каким-нибудь образом показать ей прекрасного двойника ее мужа, то она бы была в восторге. Я не имею права, мне не дано поручения просить об этом, но если б это могло случиться как-нибудь нечаянно...

– Очень милая идея! К сожалению, ее весьма трудно выполнить. Саша приедет только на день бала и потом опять уедет. А в такое короткое время нельзя придумать ничего... Конечно, очень бы забавно было видеть обоюдное удивление... Особливо если сходство так поразительно, как вы говорите...

– о, удивительное! Одна разность лет и пола...

– Но помилуйте, отчего же вас не поражает это же самое сходство в брате Саши, которого вы так часто видите у нас?

– Фи, помилуйте! Какая разница! Александра Ивановна решительно красавица, а брат ее... право, не знаю, как назвать, только сходство его с генералом самое детское...

Леонова расхохоталась, и хотя Сельмин не понимал причины ее смеха, но не любопытствовал и узнать о ней. Его занимала теперь только мысль, как бы сделать возможным неча-

янное свидание Зембиной и его незнакомки. Леонова, с своей стороны, также очень обрадовалась, что может иметь случай позабавиться насчет женщины, которая более 5 лет не удостоивает своим знакомством ни одного порядочного дома. Это ей казалось совершенно извинительным, ей даже приятно было думать, что она от имени всего московского дамского общества отомстит Зембиной за ее скрытность и затворничество.

– Послушайте, Александр Петрович, мне бы очень хотелось сделать вам приятное. Не хотите ли свести их у обедни; бал будет в понедельник, а Саша приедет в субботу ввечеру. Так на другой день, в воскресенье, я могу нарочно поехать с нею в ту церковь, куда ездит ваша г-жа Зембина. Верно, она постоянно становится на одном месте. Узнайте о нем заранее, я стану там же и подле нее поставлю Сашу.

Сельмин был в восторге от выдумки Леоновой и рассыпался в благодарностях. С одной стороны, он радовался, что увидит свою прелестную незнакомку, с другой, полагал, что доставит удовольствие Зембиной, и, наконец, думал, что, может быть, этот случай откроет ему что-нибудь из семейной тайны, которую от него до сих пор скрывали. Условясь во всем с Леоновой, он откланялся и уехал, а Леонова спешила послать за Сашею, чтоб сообщить ему план комедии, которую ей хотелось разыграть. Саша очень рад был случаю к новой мистификации, и все заранее смеялись странной встрече. Вышло совсем иначе.

В тот же день ввечеру Саша, по обыкновению, явился к дяде и рассказал ему весь новый план переодевания. Сперва Саша рассказывал очень весело, беспрестанно смеясь забавной выдумке, и заранее даже воображал, что ему удастся сорвать улыбку с лица пустытника, но мало-помалу тон его рассказа начал переменяться... Он хорошо знал нрав дяди и видел, что вся выдумка Леоновых ему чрезвычайно не нравится. Он видел, что буря собирается на челе его, и голос Саши стал слабеть, речь начала путаться, он прервал рассказ тем, что не иначе обещал свое согласие на все это, как получа его разрешение.

– Досказывай, Саша, все, – мрачно сказал дядя. – Мое мнение узнаешь ты потом.

С трепещущим сердцем продолжал Саша свой рассказ, бросая поминутно взгляды на дядю, чтобы по лицу угадать его мнение. Каково же было его удивление, когда вместо гнева, которого он, по всем признакам, ежеминутно ожидал, увидел он на лице его необыкновенное внимание и странное волнение...

– Как зовут эту даму, которой муж так похож на тебя? – спросил вдруг пустынный, прервав рассказ Саши.

– Кажется, Леонова называла ее г-жою Зембиной.

Вопль горести исторгся внезапно из уст пустытника.

Он закрыл руками глаза и опустил голову на грудь. Последовало долгое грустное молчание, которого Саша не смел тревожить.

– Зембина! – повторил наконец пустынный, едва внятным голосом, приподнимая голову, и Саше показалось в эту минуту, что ресницы его были орошены слезами.

– А разве вы ее знаете? – с искренним простодушием спросил Саша.

– Ее? – сказал пустынный и печально покачал головою, не отвечая, однако же, на вопрос Саши.

После этого опять произошло молчание, которое дядя прервал, спрося вдруг у Саши:

– А брат где?

– Какой брат? – с недоумением сказал Саша.

Пустынный ничего не отвечал, но на минуту опять закрыл глаза рукою. Только по сильно вздымающейся груди его видел Саша ужасное волнение его духа. Мало-помалу он успокоился и тихо спросил:

– Ты не слыхал, друг мой, замужем ли эта женщина, или...

Саша спешил рассказать ему все, что мельком слышал от Леоновой.

– И эти люди для забавы своей хотят растерзать ее сердце! – сказал пустынник, выслушав рассказ Саши.

– Как скоро это *вам* не угодно, то из предположения ничего не будет, – отвечал Саша.

– Признаюсь, друг мой, я и от тебя не ожидал подобных шуток. Ты у меня, кажется, воспитан в страхе божием, а вздумал согласиться на такую забаву. Что такое церковь? Что значит служба господня? Зачем собираются толпы христиан в храме? Разве для свиданий, для переодеваний, для наглых шуток? Входя в церковь Божию, вы за порогом ее должны оставить все суетные и ложные помышления земли. Один бог, одна молитва должны быть у вас на сердце и уме. А вы, что вы делаете?..

Невольный трепет пробежал по жилам Саши. Никогда голос дяди не был так грозен. С покорностью преклонил Саша колени и, схватив руку его, с нежностью облобызал. Вид смирения тотчас же успокоил пустынника. Он взглянул на юношу с любовью, поднял его и посадил подле себя.

– Когда же назначено было ваше свидание? – спросил он его после продолжительного молчания.

– В нынешнее воскресенье... Но завтра же поутру объявлю, что никогда не соглашусь...

– Постой, друг мой... Не будь так поспешен. Я вовсе не противлюсь этому свиданию... Я бы даже желал, чтоб оно произошло... Однако не в церкви, не с ничтожным переодеванием, не в постыдном намерении забавляться изумлением и страданиями бедной женщины...

– Но почему же вид мой должен заставить ее страдать? – спросил Саша. – Я только думал, что она удивится, увидя разительное сходство мое с ее мужем...

– Если это сходство решительно существует, то и в этой одежде она увидит его...

– Ах, нет, дяденька! Полковник Сельмин, который видел меня только раз в женском наряде, почти бредит этим удивительным сходством. В этом же платье он видал меня раз двадцать и не обратил ни малейшего внимания.

– Зато *она* тебя гораздо лучше узнает в обыкновенном платье!..

– *Узнает?* Разве она знает меня?

Дядя замолчал. Видно было, что в нем боролось желание сказать всю правду и обязанность скрывать чужую тайну. Глаза его обратились к небу, – казалось, он в нем искал себе руководства и наставления.

– *И дух твой наставит мя на землю праву!* – сказал он наконец и, возложив руку свою на голову Саши, прибавил с восторженным видом: – Господи, да будет воля твоя!

Саша с жаром схватил благословившую его руку и поцеловал ее. Он уже не делал более вопросов, зная, что дядя сам все скажет, что нужно для его пользы.

– Вот что ты должен сделать, друг мой, – сказал ему наконец пустынник, – скажи своим Леоновым, что я запретил тебе всякое переодевание в то время, когда ты будешь в церкви, и что даже неприлично в храме божием подстрекать любопытство или другие земные чувства, но что я дозволил тебе ждать г-жу Зембину на паперти. Там можешь ты, друг мой, подойти к этой женщине... и даже сказать ей что-нибудь...

Он не кончил речи, когда Саша с недоумением спросил его:

– Что ж мне сказать ей?

– Что хочешь... Скажи, например, что неизвестный пустынник кланяется ей.

– А она вас знает?

– Может быть, и слыхала... Только предупреждаю тебя заранее... Если сходство так поразительно... то вид твой... вероятно, изумит ее... испугает... Может быть, ей сделается дурно... О, тогда бросься к ней, помоги ей, успокой ее, облобызай ее руки, омочи их слезами

и потом беги, беги скорее от нее, скройся сюда, ко мне. Я защищу, я спасу тебя от несправедливости и жестокости людей.

Саша и не понимая слов дяди, был, однако же, тронут ими до слез.

– Кого и чего я должен бояться? – спросил он у него.

– Одного бога, сын мой. Людская злость окончится вместе с ними, а божья благодать останется навеки. Предвижу, друг мой, что это свидание принесет тебе много горя и бед, но пора тебе привыкать к испытаниям. Вся человеческая жизнь не что иное, как юдоль скорби. Я уже сказал тебе однажды, что ты рожден для несчастий. Приготовься к ним. Скоро тебе нужны будут полные твердость и сила души.

С недоумением и некоторым страхом смотрел Саша на дядю. Он вовсе не чувствовал той бодрости и силы духа, которые пустынный предполагал в нем. Напротив, он трепетал от одной мысли, что счастливая и беззаботная жизнь должна кончиться. По бледности лица и смущению пустынный догадался о тайных его чувствах.

– Друг мой! Кажется, ты теряешь бодрость и не видишь еще опасности? Но я уверен, что в минуту несчастья ты ободришься и вспомнишь, что лучшим и вернейшим нашим убежищем в бедах – святая вера... Теперь ступай; пора успокоиться. Молись богу. Он один твоя защита.

С искреннею любовью поцеловал Саша руку дяди.

Проведя в первый раз в жизни очень дурную ночь, Саша поутру отправился к Леоновой и объявил решение дяди. Все сильно восстало против такого решения и уговаривали его нарушить на этот раз приказание дяди и доставить всем невинное удовольствие. Но Саша пребыл тверд и непреклонен. Воля дяди была для него верховным законом, против которого всякое послушание ему казалось совершенно невозможным. Леонова, видя упрямство Саши, надулась и сказала, что не стоит более и говорить об этом. Саша начал предлагать свидание на паперти, но Леонова сказала, что он может идти туда один, потому что ни она, ни Мария не поедут. Тем разговор и кончился. Все разошлись недовольные друг другом, а Саша, оскорбленный несправедливою холодною всего семейства, два дня не ходил к ним. На третий за ним прислали. Это было в субботу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.